

ПОРОГ СХЕМА 4



РОМАН ВОРОБЬЕВ

Роман Воробьев

Порог. Схема. Том 4

<https://litres.ru/74338642>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сеть встала в нейтраль: двери открываются сами, маршруты рвутся, корабли пропадают на ровном месте. А по всем узлам пояса идёт циркуляр с лицом Дана Веко и ценой в девять миллионов за него живого.

Гильдия готовит Прошивку — стянуть сеть разом и оплатить это гашением окраинных секторов. Орден Печати требует Персты и обещает свой чин. Обе стороны триста лет объясняли людям, как устроена Паутина, и обе впервые не справляются при свидетелях.

Дан идёт против расписания к станции, которой нет ни на одной карте. Там, по слухам, тридцать четыре года держат женщину, которую официально похоронили. Она носит такой же Ключ.

Что Гильдия на самом деле делает с носителями — и почему в палате рядом ждёт своей очереди семнадцатилетний мальчишка?

Содержание

Глава 1. Служебная нить	4
Глава 2. Слепая накладная	21
Глава 3. Шесть радиусов	36
Глава 4. Шестая койка	51
Глава 5. Из смены не выходят	66
Глава 6. Очередь	82
Глава 7. Стежок	96
Глава 8. Молва	110
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Роман Воробьев

Порог. Схема. Том 4

Глава 1. Служебная нить

Стрелка расходомера на левом маневровом дрогнула и поползла вниз, и я поймал её взглядом раньше, чем Тарас в машинном успел выругаться в интерком.

— Держи, — сказал я. Вышло с присвистом на первом звуке, как всегда теперь. — Держи, не трогай заслонку.

— Держу я, держу. Она сама дышит.

Она и правда дышала. Служебная нить, по которой мы шли девятые сутки, сужалась и разжималась под корпусом, будто кто-то за тканью подтягивал и отпускал шнуровку. Сорок четыре дня сеть стояла в нейтрале, и за эти сорок четыре дня она разучилась держать длину. Расписание, по которому пояс жил веками, теперь вралю на минуты, потом на десятки минут, а к утру, если верить Дорн, вралю на часы.

Аглая стояла у стойки, положив ладонь на тёплый кожух привода. Ключи на её поясе молчали: она перехватила связку резинкой ещё вчера, чтобы не звенела.

— Дан. Сколько до выхода.

Я закрыл глаза. Правой руки я не чувствовал уже давно, кисть лежала на косынке серая и сухая, и Третий Перст си-

дел на запястье хомутом, вросшим в кожу сорок шесть суток назад. Но кость слышала. Кость слышала лучше, чем уши.

Нить шла ровным низким гудением, и в этом гудении с носа наплывало другое: шорох, дробь, разноголосица, как будто впереди за стеной работал огромный цех.

— Минут двадцать, — сказал я. — Может, пятнадцать. Она укорачивается.

— Она не может укорачиваться.

— Она укорачивается.

Аглая не стала спорить. Она подвинула корешок судового журнала до ровного и щёлкнула тумблером связи.

— Коршун, Молчун. Ход прежний, дистанция триста, огни не жечь.

— Принято, — отозвалась Дорн. Голос у неё за переход сел и осип. — У меня протез ловит рассеянное свечение по курсу. Много. Это пояс.

Я и без протеза знал, что это пояс.

Рина сидела на связном посту вполоборота, вертела заголовку в хвосте и не надевала наушник. Наушник висел на шее.

— Ты слышишь что-нибудь? — спросил я.

— Пока ничего. У меня тут вторую неделю стерильно, как в лазарете дока. — Она поймала себя. — Ладно, не как в лазарете дока. Чище.

— Я обиделся, — сказал док из угла. Он сидел на откидном сиденье, катал в пальцах незажжённую папиросу и смотрел на меня, а не на приборы.

Нить выпустила нас без предупреждения.

Ткань разошлась, корпус качнуло, и в рубку из динамиков хлынуло всё сразу. Помехи, чужие позывные, метроном чьего-то маяка, гудение диспетчерского канала, обрывок счёта на незнакомом языке. Рина дёрнулась и хлопнула ладонью по регулятору и всё равно опоздала на секунду. Шкалы вспыхнули ядовитой зелёной сеткой. Полтора месяца они держали ноль, а теперь горели все разом и лезли в глаза. Я зажмурился и открыл глаза заново.

— Ух, — сказала Рина. Она натягивала наушник обеими руками. — Ух ты. Он живой. Он весь живой. Тут четыреста источников. Четыреста двадцать. Я не успеваю считать.

Пахло горячей изоляцией. Где-то на верхнем щите повело обмотку от скачка нагрузки, и запах жжёной изолянт по-полз по рубке ровно так же, как он полз в трюме верфи Тупика, когда я был мальчишкой и таскал мастеру прутки.

Аглая наклонилась к шкале обзора.

— Дистанция.

— Четыре километра, — сказала Рина. — Створ прямо. И он не пустой.

Створ был не пустой. На обзорной сетке, в самой горловине выхода служебной нити, стояли четыре метки, разнесённые по углам квадрата, и держали строй с той аккуратностью, по которой Гильдию узнаёшь раньше, чем читаешь вымпел.

— Заградительный пост, — сказала Дорн в динамике. Спокойно, как называют погоду. — Ордер из четырёх вым-

пелов. Головной по типу корпуса фрегат моей серии. Аглая, они стоят на выходе. Они стоят там, куда мы выходим.

Тарас в интеркоме перестал свистеть сквозь зубы. Это всегда было понятнее любого доклада.

— Регистр, — сказала Аглая.

— Наш номер на борту чужой, — отозвалась Рина. — Купленный. Если они запросят по описи, номер у них в базе есть, и он живой. Только он живой не за нами.

— Значит, не запросят с ходу. Дан.

Я уже слушал.

Здесь всё было иначе, чем в Глуши. За Кромкой сеть была тихой и голой, там одна дверь стояла в пустоте, как гвоздь в стене, и её было слышно за сутки хода. Тут гудели сотни нитей, они перекрещивались, вкладывались одна в другую, и слух вязнул в них, как рука вязнет в мешке с гайками. Отдельную нить в этом гуле я не различал. Я вообще ничего не различал.

Пришлось смотреть.

— Док, — сказал я.

Он поднялся и взял меня за левое запястье двумя пальцами, глядя мимо, на переборку.

— Восемьдесят четыре. Две минуты, не больше. При первой крови гашу.

Я открыл Ключ.

Зелёная сетка приборов ушла. Вместо неё легла другая картина, и в ней у пояса было тело. Нити шли снизу вверх

и слева направо, толстые внизу, тонкие поверху, они провисали и подтягивались, и в местах пересечений светились узлы. По этой ткани ползло всё, чем живёт пояс: хлеб, вода, металл, люди.

А в горловине, где стоял ордер, ткань провисала.

Я видел, как это работает, и от того, как это работает, у меня заломило корни нижних зубов. Четыре корабля Гильдии стояли в строю по счислению. Они держали углы квадрата по гироскопам и по отметкам узла. Только узел под ними съезжал. Сеть в нейтрале, натяжение ноль, ориентиры в горловине медленно уходили вбок, а шкалы честно докладывали, что всё на месте.

Головной пошёл первым.

Он не отвернул. Он остался на курсе, а курс сам вывернулся у него из-под киля, и метка на нашей сетке косо поползла вниз и вправо, к третьему в ордере, и третий начал отваливать, чтобы не столкнуться, и четвёртый пошёл за третьим, потому что в ордере ходят за ведущим.

— У них строй сминается, — сказала Дорн. В её голосе появилось что-то живое. — Ты видишь? Они расходятся. Они не маневрируют. Их разносит.

— Их разносит, — подтвердил я.

Строй распускался, как распускается кладка, из которой вынули один камень. И там, где четыре корабля растягивали между собой квадрат, теперь оставалась дыра, и через эту дыру в провисающей ткани шла тонкая боковая нить, никем

не занятая. Она была неудобная. Она шла под углом и вниз, и ни один навигатор с лицензией не повёл бы по ней борт, потому что по счислению её вообще не было.

— Есть коридор, — сказал я. — Слева вниз, под ними. Тридцать градусов и вниз. Дорн, идёшь в кильватер, дистанция триста, не отрывайся.

— Дан, — сказала Дорн. — Мы пройдем в четырёх километрах от головного.

— Пройдем. Он себя-то сейчас не найдёт.

Док положил мне ладонь на плечо и сжал.

— Гашу.

Я отпустил.

Рубка вернулась вместе с болью под ключицей и звоном в челюсти. Крови не было. Я вытер левой рукой под носом на всякий случай и посмотрел на пальцы: сухо.

Аглая уже стояла у переговорного.

— Тарас. Тридцать вниз, короткими. По его такту.

— По его такту, — отозвался Тарас. — Скажи ему, пусть считает нормально, а не как в прошлый раз.

Я считал нормально. Я отбивал костяшкой левой руки по стойке, и каждый удар был импульс, и Тарас дёргал рубильником в машинном, и Молчун валился влево и вниз, в дыру между чужими бортами.

Ткань в горловине была рыхлая, и корабль шёл через неё, как шило через войлок.

Мы прошли под головным на четырёх километрах. С та-

кой дистанции он был точкой в оптике, огни на нём горели все до одного, и он разворачивался кормой к собственному сектору ответственности, медленно и уверенно, докладывая на узел, что держит створ.

Никто нас не окликнул.

В Глуши нас искали одним фрегатом на всю пустоту. Здесь работали четыреста источников сразу, и ни один не спросил, кто прошёл у них под килем.

Через два часа с небольшим я стоял в носовом блистере и смотрел на пояс живыми глазами.

Смотреть было тяжело. Стекло здесь Рина расчистила ещё за Кромкой, и теперь в нём стояла россыпь навигационных огней, ходовых маркеров, аварийных вспышек чьих-то сбившихся с курса грузовозов, и всё это мигало вразнобой. Оптический силуэт Коршуна висел по левому борту в трёхстах метрах, без огней, длинный и чёрный.

— Не дави лбом в стекло, — сказал док. — Оно холодное.

— Оно единственное холодное, что я чувствую.

Он не ответил на это. Он поймал моё левое запястье и стал считать, шевеля губами.

Авдей стоял чуть позади, держась за поручень обеими руками. Комбинезон Сходней сидел на нём мешком. Рясу он снял ещё на Приюте, но привычка осталась: он то и дело трогал грудь, где раньше была вышивка, и не находил её.

— Чадо, — сказал он. — Что это за огни справа, вон те, желтые, россыпью?

— Узел. Их там сотни две. Транспорт, буксиры, кто-то стоит на приколе.

— Двести кораблей в одном месте, — сказал Авдей. Он помолчал. — Я тридцать один год видел за окном один и тот же чёрный камень.

— Девяносто шесть, — сказал док мне. — Ты не в порядке.

— Я никогда не в порядке.

— Ты сегодня не в порядке отдельно.

Он был прав, и я знал, в чём дело.

Перст тянул.

Третий Перст сидел на мёртвом запястье и не должен был ничего делать. Он тяга. Он берёт и держит, открывает за-слонки и срывает закисшие стопоры, и он мёртвое железо в мёртвой руке, пока я его не позову.

А сейчас он тянул сам. С той минуты, как мы вышли из нити, — вперёд и чуть вниз, в сторону узла, к скоплению огней. Как стрелка подаётся к магниту.

И жила на шее шла ему навстречу.

Чёрная полоса Раствора стояла у меня по краю челюсти уже месяц. Она не поднималась. Но в поясе она начала биться. Не в такт пульсу, отдельно, коротко и часто, как бьётся мышца под глазом от усталости.

Док смотрел на эту жилу и молчал.

— Считай, — сказал я.

— От ста назад по семь.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять.

Я дошёл до пятидесяти восьми и споткнулся не на счёте, а на слове: шипящие сорвались в свист, и вышло смазанно. Правая половина лица не работала полтора месяца.

— Достаточно, — сказал док.

Он достал клеёнчатую тетрадь, вторую по счёту, распухшую от вложенных бумажек, и положил её на колено. Потом посмотрел на мою шею. Потом на Перст.

Тетрадь он закрыл, не написав ни строчки.

— Впереди пост, — сказал я. — Дорн его уже видит.

Заградитель Гильдии стоял в стороне от створа, пригнувшись к техническому кольцу узла. Восемь тысяч тонн, тупой нос, батареи по борту. Такой корабль не гоняется. Такой корабль стоит и смотрит, а гоняются другие.

— Он нас видит? — спросил Авдей.

— Он видит наш номер.

— И номер у нас чужой.

— Номер у нас чужой, и в этом вся беда, отец. Чужой номер живой. Он в базе. По нему когда-нибудь придёт запрос, и придёт он к тем, у кого мы его купили.

Я взял Ключ на десять секунд. Только на десять, док считал вслух.

Мне нужна была не картина, мне нужен был один участок: как ткань ложится вокруг заградителя. И она ложилась так, как ложится простыня на угол ящика. Пост стоял в натяну-

том месте, а слева от него, в двух километрах, шла складка, где нити нахлёстывались друг на друга и давали слепую полосу. Такая полоса не прячет корабль от глаз. Она путает приборы, потому что в ней сеть считает расстояние дважды.

Отсюда я мог не убегать. Я мог просто сказать, где мы пройдем.

— Аглая, — сказал я в интерком. — Двадцать влево, потом держать. Мы пройдем у него под боком, в двух километрах. Не прячься, ход не гаси, иди как шли. У него на пульте мы окажемся вдвое дальше, чем на самом деле.

Пауза.

— Ты уверен.

— Да.

— Коршун, — сказала Аглая, — за нами, дистанция триста, ход ровный.

— Иду, — ответила Дорн.

Мы прошли под заградителем в двух километрах.

Это было близко. Так близко, что в оптику блистера я видел ряд иллюминаторов на его борту и жёлтые прямоугольники света в четырёх из них. Кто-то там не спал в шестом часу. Кто-то, может, смотрел в нашу сторону и видел старый грузовоз с чужим номером, который идёт себе по служебной ветке и никуда не торопится. И ни один прибор на восьми тысячах тонн не доложил, что грузовоз вдвое ближе, чем показано.

Перст тянул. Он тянул туда же, вперёд и вниз, и правая

рука на косынке дёрнулась сама, и я прижал её локтем к боку.

— Пульс, — сказал док.

— Не сейчас.

— Пульс, — повторил он и взял запястье. — Сто десять. Дан, ты держишь железку зубами.

— Я держу её плечом. Зубы заняты.

Заградитель ушёл за корму, стал огоньком, стал ничем. Я довёл Молчун до развилки служебных веток, нашёл боковую, ту, что уходила вниз и вправо, к шести ярусам складов и барахолкам, где никакой власти дальше причального смотрителя, и положил корабль на неё.

— Есть ветка на Развилку, — сказал я. — Двое суток хода.

Развилка была не целью. Развилка была местом, где прячут пять Перстов, покупают бронелист и не отвечают на вопросы. Цель лежала дальше, на кальке, которую отдала мне Дорн: узел Виварий, два дока, четыре яруса, шесть палат. И одно имя, которое реестр держит действующим тридцать четыре года после похорон.

Авдей отпустил поручень, поднял левую руку и перекрестил переборку блистера. Медленно, как у себя в нефе.

— Отец, — сказал я. — Это переборка.

— Это борт, чадо. Борт прошёл.

Док убрал тетрадь в карман. Ни даты, ни времени, ни слова. Он так и не написал ничего за всю вахту, и это было хуже, чем если бы написал.

К связному посту я дошёл в седьмом часу, и в рубке уже

пахло не изолентой, а взваром.

Рина грела жестянку на аварийном элементе. Взвар был вторичный, из яблочной кожуры, которую она сушила ещё на Приюте, и запах у него был слабый, кисловатый и совершенно домашний. Она держала жестянку тряпкой и дула сверху.

Тарас сидел на настиле спиной к стойке и правил пассатижами гайку на кожаном шнурке. Гайку он свинтил с чужого корабля пятнадцать лет назад, и с тех пор она у него на шее, и раз в полгода он подтягивает на ней резьбу, которую подтягивать незачем.

— Вот кто это рисовал, — сказал он, не поднимая головы. — Вот скажи мне. Трафарет кривой. Четвёрка косая, семерка вообще без перекладки. Я такой номер на борт за бутылку не поставил бы.

— Нам его не для красоты продали, — сказала Рина.

— Мне обидно за железо. Железо ни в чём не виновато. — Он приложил гайку к уху и щёлкнул по ней ногтем.

Ключ на двадцать четыре лежал у него на колене, и когда он потянулся за тряпкой, ключ пошёл с колена и упал на настил.

Звон вышел короткий и злой.

Тарас замер. Он сидел неподвижно секунды три, глядя на переборку, будто пост в трёх тысячах километров позади мог услышать, как у нас на палубе падает железо.

— Тарас, — сказала Рина.

— Молчи.

— Тарас, до него три тысячи километров.

— Я сказал, молчи.

Он подобрал ключ и положил его на колено обратно, аккуратно, двумя руками.

Аглая вошла последней, встала у стойки и оглядела всех по очереди. Экипаж был в сборе: я, док, Рина, Тарас, Авдей у переборки. Дорн держали на интеркоме.

— Смена вахты, — сказала Аглая. — Двое суток до Развилки. Рина.

— Эфирный лог за сутки, — Рина уже разворачивалась к панели. — Всё, что мы отдавали, чистим. Мы за переход передавали в эфир шесть раз, все шесть на закрытом луче на Коршун, но лог пишет и закрытые. Если нас на Развилке попросят показать журнал связи, там будет то, что должно быть у грузовоза с чужим номером. То есть почти ничего.

— Делай. Частоты?

— Проверю все. Тут их теперь много, у меня руки чешутся.

— По приходу на Развилку, — сказала Аглая, — Персты идём сдавать на тупиковые склады. Все пять, в сукне, одним местом. Оружие на узлах под опись, Персты по описи не оружие, но лежать в моём сейфе они на торгу не будут. Авдей идёт со мной как хранитель, он вписан.

— Иду, — сказал Авдей.

— Третий не снимается, — сказала Аглая мне.

— Третий сросся.

— Знаю. Рукав распори шире.

Рина уже гоняла приёмник по диапазонам. Обрывки чужих голосов проходили через рубку и уходили: диспетчер дальнего узла зачитывал очередь на подход, кто-то торговался за партию труб, женский голос повторял номер причала, потом пошёл длинный ровный сигнал циркуляра.

— Служба маршрутов, — сказала Рина. — Открытый циркуляр, общий доступ. Это они каждый час гонят, там прогноз по узлам и ориентировки. Дед мой такое читал.

Она сказала про деда и осеклась. Ретранслятор сто девяtnадцатого узла молчал третий месяц.

— Пусть идёт фоном, — сказала Аглая. — Тарас, что с левым трактом.

— Тракт держит вполсилы и будет держать вполсилы, пока я не куплю на Развилке нормальные сопла. Мне нужен бронелист шесть миллиметров и день у сварочного поста. И воды на охлаждение.

— Воду не проси.

— Я и не прошу. Я констатирую свою тяжёлую жизнь.

Рина подняла руку.

Она подняла её резко, ладонью вверх, и мы все замолчали, потому что этот жест у неё значил одно.

— Свежая ориентировка, — сказала она. — Общий доступ. Идёт с картинкой.

Экран на связном посту был маленький, серый, с рябью по краю. Изображение собиралось медленно, полосами сверху

вниз.

Сначала пошёл лоб. Потом волосы, слишком длинные для устава любой работы. Потом глаза.

Я смотрел на себя.

Снимок был старый, с практикантского допуска, тот самый, который я подписывал в Тупике четыре года назад и подпись тогда вышла не своя. На нём у меня было целое лицо. Обе половины работали, и правая тоже, и я на снимке чуть щурился, потому что в верфяной фотобудке лампа была прямо.

Под снимком шли строки.

— Веко, — прочитала Рина. — Дан. Практикант службы навигации, лицензия отсутствует. — Она сглотнула. — Статус: особо опасный объект. Задержание живым в приоритете. Огонь на поражение по борту разрешён при уклонении.

В рубке стало очень тихо. Тарас перестал возить тряпкой по гайке.

— Дальше, — сказала Аглая.

— Дальше приметы. Правая рука нефункциональна, косынка, парез правой половины лица, речевой дефект. — Рина читала ровно, и голос у неё садился с каждой строкой. — Сопровождающие: грузовое судно среднего тоннажа, регистр под подозрением. Экипаж числом до десяти. Фрегат девятого... нет, третьей серии, без вымпела.

— Нас описали, — сказал Тарас. — Всех. С номером.

— Номера тут нет, — сказала Рина. — Тут написано «ре-

гистр под подозрением». Это хуже, чем номер. Номер можно перебить.

Авдей отошёл от переборки и встал за спиной Риной, глядя на экран поверх её головы. Он не крестился. Он просто смотрел на снимок, на котором у меня было целое лицо.

— И вознаграждение, — сказала Рина.

Она замолчала.

— Читай, — сказала Аглая.

Рина не сразу нашла голос.

— Вознаграждение за содействие в задержании живым.
— Она подняла глаза от экрана. — Девять миллионов.

Число повисло в рубке, и никто его не повторил.

Я умею считать в уме быстро, это у навигатора первое ремесло. Долг Аглаи верфи Тупика был сорок две тысячи, и мы за него чуть не легли всей командой, и она вычёркивала этот столбец в старом журнале углём, и рука у неё тогда дрогнула. Названная сумма закрывала эти сорок две тысячи двести с лишним раз. Она закрывала долги всей верфи. Она закрывала долги всего сектора Тупик, со стапелями, приставками и мастером, который восемь лет давал моей матери хлеб по субботам и ни разу не спросил, когда она вернёт.

Тарас поднялся с настила. Он держал ключ на двадцать четыре в руке и, кажется, забыл, что держит.

— За живого, — сказал он. — Не за мёртвого.

— За живого, — сказала Рина.

Док достал папиросу и не закурил. Он стоял и катал её в

пальцах, и смотрел не на экран, а на меня, как смотрел все эти месяцы.

Жестянка со взваром на аварийном элементе закипела и пошла через край, зашипела на спирали. Никто не потянулся её снять.

Аглая стояла у стойки, положив ладонь на тёплый кожух привода, и с экрана не отвела глаз ни разу.

Глава 2. Слепая накладная

Приказчик назвал цену второй раз, и она выросла.

— Восемьсот за сутки, — сказал он и потянул к себе журнал, как будто мы уже согласились. — Ячейка глухая, третий ряд, замок один, ключ у меня.

— Ты сказал пятьсот, — сказала Аглая.

— Я сказал пятьсот утром. Утром у меня было четыре свободных ячейки.

Он мотнул подбородком в сторону галереи. Там, между боксами, вдоль стены лежали люди. Не сидели, а именно лежали, подстелив тюки и куски пенопласта, и их было столько, что проход сузился до одного человека. С торца галереи тянуло сквозняком, и вместе со сквозняком тянуло застоявшейся технической водой, той, что стоит в баках без прогона по фильтру месяцами. Люди спали на этом сквозняке в комбинезонах с чужих узлов, с нашивками, которые я не знал.

— Беженцы, — сказал приказчик. — Со Второй ветки идут четвёртые сутки. Кто с деньгами, тот кладёт вещи ко мне. Так что восемьсот.

Тарас присвистнул сквозь зубы и переступил, и подошва с разболтанной магнитной пластиной проскробла по рифлёному настилу.

— Слышь, начальник. У тебя ржавчина в петлях с палец толщиной.

— Ржавчина не крадёт, — сказал приказчик.

Аглая перебрала ключи на поясе, остановила их и положила ладонь на стойку.

— Шестьсот. И расписка с описью, что принял место за пломбой, не вскрывая.

Приказчик посмотрел на неё, потом на Авдея, который стоял рядом со свёртком в руках, и цена его перестала интересовать.

Свёрток был обычный. Тёмное сукно, перетянутое второе сложенной верёвкой, размером с хлебную буханку, чуть больше. Авдей нёс его двумя руками, прижав к груди, и всю дорогу от причала до складов держал так, будто ему на руки положили что-то живое и спящее. Внутри лежали пять Перстов. Первый, Второй, Четвёртый, Пятый, Шестой. Мёртвое железо без живой руки: Тарас на Соборе стучал по ним раз-водным и слушал — они не ответили ему ничем.

Третьего в свёртке не было. Он сидел на моём правом запястье сорок восьмые сутки, сросшийся с костью хомутом, и правая рука под курткой сама подавалась вперёд и вниз, к узлу, куда её тянуло с самого выхода в пояс. Я держал её левой за локоть. Со стороны это выглядит как человек, которому неудобно стоять.

— Что в свёртке, — сказал приказчик.

— Утварь, — сказал Авдей.

— Утварь, — повторил приказчик.

— Церковная.

Приказчик пожевал губами и потянулся щупать. Авдей не отдал. Он повернулся боком, положил свёрток на стойку и накрыл ладонью, и я в первый раз увидел, как он это делает: рука со старыми шрамами легла поверх сукна ровно, без спешки, и стало понятно, что руку эту он не уберёт, пока не решит сам.

— Пломба моя, — сказал Авдей. — Печать моя. Расписку пишете вы, подписываю я. Вскроете сами — ответите перед Синодом.

— Синод у нас на ярусе третью неделю сам себе отвечает, — сказал приказчик, но щупать перестал.

Он выдал ячейку в третьем ряду. Железный ящик в стене из железных ящиков, в проходе между боксами, где потолок так низко, что Тарас шёл пригнувшись. Авдей уложил сукно, повернул его дважды, будто выравнивал по каким-то своим сторонам, придавил сургучом и прижал ладонью, отсчитывая про себя. Потом отступил и перекрестил дверцу.

— Не поможет, — сказал приказчик.

— Это не для замка, — сказал Авдей.

Замок был хороший, я посмотрел. Четыре ригеля, старая гильдейская отливка, снята с чего-то большого и приварена сюда без совести. Такой вскрывается за час, если у тебя есть час и никто не ходит мимо. Мимо ходили постоянно.

Аглая забрала расписку, прочитала её всю, включая мелкое, и отдала Авдею.

— Хранитель ты. Значит, бумага твоя.

Авдей сложил её вчетверо и убрал за пазуху.

Приказчик всё это время смотрел на меня. Не в лицо, лица под капюшоном ему было не разглядеть, а чуть выше, на край капюшона, и я понимал ход его мыслей, потому что мысль там была одна: почему парень в тепле склада стоит с закрытой головой. Я повернулся к нему правым боком, тем, что не работает, и не сказал ничего. Мне вообще лучше молчать. Шипящие у меня выходят свистом с той стороны, где лицо не держит воздух, и человек, услышав это дважды, запоминает навсегда.

— Тарас, — сказала Аглая. — Что тебе надо и за сколько.

— Бронелист шесть миллиметров, четыре листа. Сопла, если найду готовые, но готовых не найду, значит буду гнуть. И день на стапеле с постом. — Он подтянул гайку на кожаном шнурке и посмотрел вверх, где над складами гудела вытяжка. — Начальник, у вас тут кто варит?

— Второй ярус, налево от подъёмника. Дерут втрое.

— Втрое от чего, — сказал Тарас с надеждой.

Он ушёл в сторону подъёмника, и скрип его подошвы был слышен ещё шагов двадцать.

Аглая застегнула комбинезон под горло.

— Я на борт. Рина держит вас на закрытом. — Она посмотрела на меня и подержала взгляд дольше, чем нужно. — Дан. Ты ходишь между доком и Авдеем. Не впереди и не сзади.

— Ходил уже так, — сказал я.

Получилось «ходил уше», с длинным свистом на конце. Аглая сделала вид, что не услышала, и пошла к причалу.

Прятать оружие имеет смысл, когда за тебя ещё не назначили цену. Мы опоздали на двое суток.

Кольцевой торг мы нашли по запаху раньше, чем по указателям.

Пахло пережаренным соевым маслом, тем кислым чадом, который стоит над жаровнями сутками и оседает на всём, до чего дотянется. Свет тут был жёлтый, натриевый, ровный, без теней, от него у всех лица одного цвета, и это единственное, за что я ему был благодарен. Настил гудел и скрежетал под ногами толпы. Ряды шли в два этажа, нижние под навесами, верхние по галерее, и людей на квадратный метр было больше, чем я видел за всю жизнь в Тупике.

На третьем столбе от подъёмника висела я.

Распечатка была плохая, серая, лицо ушло в растр, но снимок был тот самый, с практикантского допуска. Целое лицо. Обе половины. Ниже шли приметы, и приметы были подробные: рука, косынка, лицо, речь. Кто-то уже подрисовал углём поверх снимка рога, а кто-то другой ниже приписал цифру и три восклицательных знака.

Дурацкая мысль пришла первой: снимок старый, тут я ещё улыбаюсь обеими половинами.

— Не стой, — сказал док.

Он взял меня за локоть и провёл мимо, не глядя на столб, и я пошёл, глядя себе под ноги, на чужие ботинки и на про-

сыпанную крупу в щелях настила.

Такие распечатки висели на каждом втором столбе.

Маклеры сидели в конце нижнего ряда, отдельной линией, за стойками из сваренных уголков. Клеёнчатые нарукавники, ящики с бумагой, на проволоке над головой связки накладных, как бельё. У третьего от края стойка была шире прочих, и на ней стояли весы.

Авдей подошёл к весам и перекрестил их.

Маклер поднял голову, посмотрел на него, сплюнул под ноги в сторону и постучал костяшкой по чашке.

— Молитву не принимаю. Принимаю медь. Звонкую.

— Медь у нас будет, — сказал док.

Он положил на стойку щепоть табака из кармана, прямо на клеёнку, и придавил её пальцем.

— За что, — сказал маклер.

— За полчаса с вашей связкой. Вот той, полугодовой. Мы её не унесём, мы её переберём.

Маклер сгрёб табак и не ответил, что означало «да».

Мы искали продовольствие. Это была вся зацепка, какая у нас была: живой человек, которого тридцать четыре года числят умершим, всё это время что-то ест. Ирма Долль умерла по Синодику и по реестрам, и по Именослову Собора она действующая, и одно из этих двух — бумага. Бумага не ест. Значит, кто-то возит на узел хлеб, воду и мыло, и возит регулярно, и на эти рейсы должен быть адресат.

Адресата у нас не было. Мы искали рейсы без него.

Связка была тяжёлая, схваченная проволокой через угол, бумага по краям обмахрилась и приняла цвет всего, что тут стоит в воздухе. Левой рукой перебирать пачку неудобно. Я приноровился ещё на Сходнях: держишь пачку коленом, отгибаешь большим, снимаешь корешок мизинцем. Док стоял справа и время от времени касался моего запястья, будто поправлял манжету.

— Восемьдесят четыре, — сказал он тихо.

— Нормально.

Накладные шли обычные. Крупа на Вторую ветку, крупа на Вторую ветку, солярка, кислородные баллоны, снова крупа. У половины стояли отметки узлов прохождения, у половины стояли и были срезаны.

Рядом с нашей стойкой торговали бланками. Не товаром, бланками. Чистая Форма номер семь, пачками, и у каждой пачки правый верхний угол отрезан ножницами по линейке.

— Номер узла режут, — сказал маклер, поймав мой взгляд. — Бланк без номера ничей. Ничей бланк вписываешь, куда хочешь. Двенадцать за десяток, парень, и не смотри так, я их не печатаю, я их продаю.

Я смотрел на срезанный угол и думал о том, что этот же слепой оттиск стоит на делах Синодика, на тетрадах Орде-на и на девятой тетради Гессы, которую Тарас притащил из машинного. Один бланк на всех. Разрезанный документ, обе половины у тех, кто друг друга режет, и торгуют им тут по двенадцать за десяток.

В наушнике щёлкнуло.

— Слышу вас плохо, — сказала Рина. — Тут эфир как каша. Четыреста источников и все орут. Что у вас?

Док наклонился к моему воротнику.

— Мы в бумаге. Дан копает.

— Понял. Пишу.

Рядом жарили лепёшки. Женщина в платке снимала их с плиты железной лопаткой и кричала цену, и цена была втрое против того, что я помнил по Тупику. Кружка воды стоила дороже лепёшки. Я взял и то и другое, потому что у меня с утра было полбанки концентрата, и жевал левой стороной рта, а правой ловил крошки, которые с той стороны падают, потому что губа не держит. Вода была мутная и отдавала тем же баком, что и сквозняк на складах.

Док достал папиросу и не нашёл огня. Он огляделся, увидел торговое табло на столбе, у которого искрила подведённая наскоро жила, и сунул папиросу туда. Табло щёлкнуло. Док отдёргнул руку и невнятно выругался, зажав палец в кулаке.

— Медь, — сказал я. — Она горячая.

— Спасибо, навигатор. Без тебя бы не понял.

Он всё-таки прикурил, с третьего раза, и стоял, дуя на палец, и вид у него был очень довольный.

Корешок я нашёл на четвёртом десятке.

Он был такой же серый, как все, и держался последним в подпачке за месяц. Продовольствие, полный набор: крупа,

жир, сухое молоко, мыло, ветошь. Тоннаж небольшой, на два десятка человек в месяц, если считать по-судовому. Отправитель — база снабжения службы маршрутов. Дальше должно было идти место назначения.

Места назначения не было.

Вместо него в графе стоял код из шести знаков и штамп службы маршрутов поверх кода, чтобы никто не полез уточнять.

Я знал этот вид записи. Такими кодами оформляют скрытую пересадку: груз идёт до узла, на узле его перецепляют на другой борт, и второй борт в бумаге не появляется никогда. По документу груз доехал и кончился. Дальше он едет уже ничей, как бланк со срезанным углом.

— Док, — сказал я.

Он взял корешок из моих пальцев, посмотрел на дату, посмотрел на код и сразу поднял глаза на меня.

Потом положил три пальца мне на запястье и сдвинул губы, отсчитывая шестнадцать ударов. Я смотрел мимо него на связку и старался не считать вместе с ним.

— Сто десять, — сказал он ровно. — Дыши. Пачку из рук не роняй.

— Полгода назад, — сказал я. — И это не разовый. Смотри отметку, у них строка выработана, они это пишут по накатанному.

Рука у меня дёрнулась. Не от волнения. Третий Перст потянул вперёд и вниз, туда же, куда тянул все двое суток, и

в этот раз я по дури не удержал его левой, и правая ладонь съехала со стойки и легла на связку сверху, серая, с содранной коркой на костяшках.

Док придавил моё плечо и держал.

Маклер смотрел на мою руку.

— Что там с рукой, — сказал он.

— Плазмой, — сказал док. — Полгода назад. Не заживает.

Маклер отвернулся быстрее, чем нужно, и стал перебирать чужие бумаги.

Мы купили корешок как макулатуру, вместе с двумя десятками таких же, чтобы он не лежал в пачке один. Я сунул его во внутренний карман, к самому телу, и всю дорогу до подъёмника чувствовал его там, как чувствуют угол чего-то твёрдого.

Тридцать четыре года. Крупа, жир, мыло, ветошь.

Мёртвые по бумаге едят точно так же, как живые.

На ярус проповедей мы вышли не потому, что хотели, а потому, что подъёмник к докам идёт через него.

Тут было тише и холоднее. Камень, гулкий свод, два помоста в двадцати шагах друг от друга, и голос с левого помоста доходил до правого и возвращался с задержкой. На правом стоял один человек в сером с тетрадью под мышкой и читал ровно, без выражения, для тех восьми, кто остановился. На левом стояли трое в чёрных рясах, и вокруг них стояли не восемь.

— Мимо, — сказал Авдей. — По правой стене и вниз.

Он пошёл первым, ссутулившись, и первые двадцать шагов у нас получились.

На двадцать первом один из троих на помосте замолчал на середине слова.

Он смотрел на Авдея. Потом он поднял жезл и показал им, и толпа повернулась туда, куда показал жезл, вся сразу, потому что в толпе это единственное движение, которое проходит без задержки.

— Вот он, — сказал печатник. — Смотрите. Хранитель алтаря.

Авдей остановился. Он мог бы идти дальше, ещё три шага, и мы бы вошли в проход. Он остановился и выпрямился, и стало видно, какого он роста.

Двое сошли с помоста и перегородили проход. Третий говорил сверху, и он говорил хорошо, я это отметил даже тогда: короткими кусками, с паузой, чтобы толпа успела повторить про себя.

— Собор пал. Экзарх сгорел у престола. Утварь вынесена, престол пуст. — Пауза. — И хранитель алтаря ходит живой по торгу и покупает лепёшки.

— Собор стоит, — сказал Авдей.

— Собор молчит!

— Он стоит и он молчит, и это разные вещи.

Книжник с правого помоста перестал читать. Он спустился, подошёл ближе, прижимая тетрадь локтем, и сказал в спину чёрным рясам что-то про то, что жезлы даны не для

указания на людей. Ему ответили сразу двое, и он ответил обоим, и голоса пошли по своду с той самой задержкой, накладываясь.

Толпа сомкнулась. Это делается без команды. Просто задние подають вперёд, потому что им не видно, и через десять секунд между нами и стеной уже нет места, а между нами и помостом нет воздуха.

Я вышел вперёд и встал перед Авдеем.

Правую руку я убрал под полу и прижал локтем к боку. Палец под тканью тянул, и тянул он туда, откуда шла толпа, и я держал его левой рукой поперёк живота, и со стороны это был человек, у которого болит бок.

Печатник спустился с помоста.

— А это кто с тобой, отче?

Он был молодой. На скуле краснело пятно, какое бывает у людей, которые кричали час подряд. Руки он держал низко и открыто, и в этом не было ничего успокаивающего: на Развилке не стреляют, потому что смотритель закрывает воздух на весь ярус. Тут работают ножом и тихо. Он это знал. Я знал, что он это знает.

Авдей начал говорить.

Свод накрыло сиреной.

Она пошла сверху, от вытяжки, короткими рвущими тактами, и от этого звука люди присели, все, одновременно, потому что этот сигнал на любом узле означает одно. Я поднял голову. На галерее над помостами стоял смотритель с ава-

рийным ключом в руке, и ключ он уже вставил.

— Ярус! — заорал он в раструб. — Считаю до трёх и закрываю заслонку! Дышать будете тем, что вдохнули!

Толпа поредела быстрее, чем набежала. Оказалось, что от помостов есть три выхода и все три работают.

Печатник не двинулся. Он стоял и смотрел на меня снизу вверх, хотя был выше на полголовы, и я понял, что он считает, сколько времени у него есть.

— Раз! — сказал смотритель.

— Мы тебя знаем, — сказал печатник Авдею. — Мы теперь всех знаем в лицо. Драгош читает имена вслух.

— Знаю, — сказал Авдей. — Я его сорок лет знаю.

— Два!

Они пошли шагом, оглядываясь через шаг, и тот, что говорил, показал жезлом сначала на Авдея, потом на меня.

Смотритель вытащил ключ и сплюнул с галереи вниз.

Стало тихо. Это была нехорошая тишина, когда вытяжку уже сбросили, а обратно ещё не дали, и воздух в своде стоит тёплый и плотный, и ты каждый вдох замечаешь отдельно.

Док взял моё запястье. Я его не отдал сразу, и он подождал.

— Сто двадцать, — сказал он. — Сядь на ступень. Не спорь.

Я сел. Камень был тёплый, и я на секунду подумал, что он тёплый по-соборному, но нет, он был тёплый от людей.

Авдей стоял, глядя туда, где ушли рясы, и гладил бороду,

и рука у него шла ровно, а вот дыхание нет.

— Сорок лет назад Драгош носил мне книги из хранилища, — сказал он. — Он бегал. Ему было девять.

В наушнике зашуршало.

— Молчун вызывает, — сказала Рина. — Дан, док, слышите?

— Слышим, — сказал док.

— Не отвечайте сразу, дослушайте. — Голос у неё был не тот, каким она болтает. Плоский, как на ленте. — Я вас веду по причальной оптике с борта, у них тут камеры на кронштейнах, я вошла в общий канал. За вами от маклерских рядов идут трое.

Док поднял глаза от моего запястья.

— Уверена?

— Они держат дистанцию сорок метров четвёртый ярус подряд. Один шёл впереди, двое сзади, на подъёмнике поменялись местами. Когда вас зажали на проповедях, они не подошли ближе. Стояли и ждали, пока разойдётся.

— Гильдия, — сказал я.

— Вот. — Она замолчала на секунду, и я услышал, как она щёлкает тумблером. — На них нет знаков. Ни Гильдии, ни Ордена, ни причальных. Комбинезоны обычные, серые, одинаковые, и обувь одинаковая, это я через оптику вижу. Я прогнала их по всем базам, какие у меня есть на борту. По гильдейским спискам, по орденским, по сходненским тетрадям, по описи Сваля. Дан, они нигде.

Свод над нами дёрнулся, и вытяжка пошла обратно. Воздух двинулся, потащил по камню кислый чад с торго, и от этого запаха в горле встало.

Я сидел на тёплой ступени и держал левой рукой правую, которая тянула вперёд и вниз, и через ткань куртки чувствовал у себя на груди угол сложенного корешка, за который отдал табак док.

Нас искали двое суток по всему поясу за девять миллионов.

Эти трое нашли нас за полдня и не подошли.

Глава 3. Шесть радиусов

Гирокомпас врал третий час, и врал он красиво: стрелка стояла, как влитая, а корабль за это время увело на треть градуса вправо.

Я заметил не по прибору. Я заметил по кружке. Она стояла у меня на краю пульта, и чай в ней держался вровень с ободком, а потом кромка поползла к дальнему борту и осталась там.

— Вправо тянет, — сказал я.

Шипящих у меня по-прежнему не было. Вместо них выходил сиплый свист, и Аглая давно перестала на это оборачиваться.

— Насколько? — спросила она.

— На кружку.

Тарас в наушнике фыркнул, но тут же смолк, потому что в рубке было не то время, чтобы смеяться дважды.

Дорн стояла у правого визира. Она пришла к нам по переходному рукаву час назад, оставив на Коршуне троих ходовых и приказ идти в кильватер на глаз, без луча. Куртка со срезанными погонами, никакого шеврона. Протез левой руки она держала опущенным вдоль тела, и валики тяги под восковой кожей не шевелились совсем.

— Гирокомпас будет врать до самого причала, — сказала она. — И дальше он врать перестанет, потому что встанет.

— Почему? — спросила Аглая.

— Под обшивкой камень. Гильдия обшила его листом и поставила сверху свои приборы. Приборы стоят на камне и меряют камень.

Аглая перебрала ключи на поясе и остановила их.

— То есть ваша служба четыреста лет ходит сюда по вращающимся приборам.

— Наша служба ходит сюда по расписанию, — сказала Дорн. — Расписание не врёт. Оно просто ничего не объясняет.

Я вёл левой рукой. Правая лежала на колене, мёртвая от ключицы вниз, и Третий Перст на запястье был единственным, что в ней жило: он тянул. Тянул вперёд и чуть вниз, без рывков, как тянет собака на поводке, которая уже видит дверь.

Служебная ветка, по которой нас вела Дорн, на карте службы маршрутов числилась накладной для снабжения. Она была узкая. Она была деформирована: нейтраль стояла сорок шесть суток, и за эти сорок шесть суток ткань в стороне от больших маршрутов провисла, как провисает пустой шланг. Идти по ней приборами было нельзя. Слухом я по ней тоже не мог: после Собора слух отдавал мне не сеть, а тягу.

— Скажи ритм, — попросила Аглая.

Я стукнул костяшкой левой по кожуху. Полтора удара сердца, потом пауза, потом снова.

Тарас снизу поймал такт и дал маневровый импульс. Ко-

рабль сел на новую линию, и кромка чая в кружке вернулась.

— Держи, — сказала Аглая. — Дорн. Дальше.

— Дальше конус, — сказала Дорн. — Причальное кольцо у Вивария несимметричное. С внутренней стороны у него мёртвая зона: ни оптики, ни радаров, ни дежурного луча. Слепое пятно на девяносто метров.

— Откуда вы знаете?

— Я в нём была.

Она сказала это тем же голосом, каким называла цифры. Аглая посмотрела на неё и молчала ровно столько, чтобы это заметили все.

— Когда?

— В двадцать лет. — Дорн подняла протез и поставила его на край панели. Стук вышел глухой, деревянный, неживой. — Меня везли сюда на замену руки. Рука сгорела на Беке, я держала его, пока он распадался. Гильдия оформила меня как груз в санитарной накладной и завела на этот причал через мёртвую зону, чтобы никто на узле не видел, что везут ключника.

— Вы не ключник, — сказал я.

— Я знаю. — Она смотрела не на меня, а в визир. — Меня везли не на замену руки. Замена руки была в пути. Меня везли на третий ярус, в палату, и в бумагах я шла как наблюдаемая. Руку сделали, а в палату не завели. Мне не сказали почему.

Тишина в рубке стала как в трюме: плотная, с гулом от

привода где-то за переборкой.

— Сорок лет назад в реестре Строителей меня записали прерванной, — сказала Дорн. — За год до того, как я родилась. Я прочитала эту строку в Именослове тридцать первого числа. Гильдия закрыла моё дело, когда мне было двадцать. То есть на сорок лет позже, чем оно уже было закрыто.

Аглая отвинтила крышку фляги, не отпила и завинтила обратно.

— Ты знаешь дорогу, — сказала она. — Веди.

Дорн повела.

Она вела по памяти, и память у неё была устроена как опись: три поворота, потом провис ткани в две трети корпуса, потом идти впритирку к тени большого узлового кольца и не выходить на свет. Ни одной приметы она не назвала лишней. Каждую подтверждала оптическим протезом за минуту до того, как примета появлялась.

Рина сидела за связным постом с наушником на шее и писала всё подряд.

— Эфир как пояс, — сказала она вполголоса. — Много всего. Ни одного направленного.

— Значит, автоматического перехвата на подходе нет, — сказала Дорн. — Хорошо. Плохо было бы, если бы эфир тут был чистый.

В 03:44 мы вошли в конус.

Это чувствовалось. Свет обзорных шкал не изменился, приборы не изменились, но корпус поймал низкую вибра-

цию, и вибрация пошла не по воздуху, а по железу: через настил, через подошву, через кость. У меня жила на шее взяла эту частоту и стала бить с ней вместе.

— Что это? — спросил Тарас снизу.

— Узел работает, — сказала Дорн.

— Он гудит на весь сектор?

— Он держит четыре сектора.

Я поднялся и пошёл в носовой блистер. Аглая пошла за мной, и я слышал её ключи через шаг.

Виварий стоял в тени большого кольца и был чёрный, потому что на нём не горело ни одного огня, кроме шести красных на швартовочных мачтах. Шесть радиусов расходились от втулки, как спицы от разбитого колеса, и в каждом на разной высоте светило по одному окну.

Шесть радиусов и шесть окон. Я стоял, считал их и понимал, что считаю не окна.

— Шесть палат, — сказал я.

Аглая не ответила.

Перст на моём запястье потянул руку вверх и вбок, к четвёртому радиусу справа, и держал так, пока я не прижал кисть к бедру левой ладонью.

В 05:40 в кают-компании горел только жёлтый плафон над столом, потому что обзорные шкалы Аглая погасила ещё в конусе.

Тарас пришёл последним, с руками по локоть в редукторной смазке, и вытер их промасленной ветошью, отчего они

стали ровно такими же.

— Шесть миллиметров, — сказал он и хлопнул ладонью по столу. — Лист лёг, коллектор затянут, двадцать четыре заклёпки. Если дадите мне ещё час, я его прихвачу по кромке, и тогда он мне переживёт всех присутствующих.

— Часа нет, — сказала Аглая.

— Тогда он переживёт половину.

Он сел, налил себе из чайника остывший мятный взвар и подвинул помятую кружку мне. Я взял левой.

Док расстелил на углу стола мой распоротый рукав, прижал локтем жестяную коробку с бинтами и стал штопать суровой ниткой. Работал он не глядя, а глядел на меня.

— Пульс, — сказал он.

Я протянул левое запястье.

— Девяносто два. — Он не полез в тетрадь. — Ты сегодня Ключ не трогал?

— Нет.

— Тронешь — только в моём присутствии.

Дорн развернула на столе кальку. Не карту: кальку, снятую с гильдейского формуляра, с сеткой из тонких линий и подписями от руки.

— Два дока, — сказала она и повела пальцем протеза. — Первый ярус: доки и охрана. Восемнадцать человек. Смена караула каждые шесть часов, окно между сменами сорок минут.

— Сорок ровно? — спросила Аглая.

— Сорок ровно четыреста лет. Смену принимают в тетрадной, на втором ярусе. Пока принимают, на первом стоят двое из старой смены и никого из новой.

— Двое на два дока.

— Двое на два дока, — подтвердила Дорн. — Это не охрана. Это обряд.

Тарас потянулся за ключом на 19, зацепил его рукавом, и ключ ушёл со стола в кабельный приямок под ногами. Он выругался вполголоса, достал из кармана бечёвку с магнитом на конце и стал шарить, продолжая ворчать себе под нос про людей, которые не варят решётку на приямок, хотя решётка стоит четыре кредита.

— Второй ярус, — сказала Дорн, не обратив внимания. — Кухня, склад, тетрадная. На полке восемьдесят одна тетрадь по годам.

— Кто пишет? — спросил я.

— Наблюдатель. Их присылают на четыре года. Ни один не служил дважды.

— Третий ярус, — сказала Аглая.

Дорн упёрла протез в край панели, глухо стукнув.

— Третий ярус — палаты. Шесть коек. Пять с бирками.

— С бирками, — повторил док.

— Сурма. Кран. Ставр. Бек. И одна без имени. — Она сказала это без паузы, как читают опись. — Шестая занята.

— Кем?

— Мирко Ставр.

Я поставил кружку. Из фамилий, которые Дорн двадцать лет носила в голове, эта была единственная, которая повторялась.

— Лея Ставр умерла двадцать три года назад, — сказал я. Вышло со свистом, и я повторил медленнее. — Двадцать три.

— Да.

— А он?

— Я не знаю, кто он ей. — Дорн смотрела на кальку. — В моих делах его нет вообще. Я узнала это имя четыре недели назад.

Док отложил иглу.

— Четвёртый, — сказал он.

— Четвёртый ярус — узел. Кресло поста. В кресло вросла Ирма Долль. Под гильдейской обшивкой чёрный тёплый камень. Туда не пускают никого. Включая врача.

Я считал в уме, пока она говорила. Долль похоронили за двенадцать лет до того, как я родился, — по Синодику, по реестрам, по всем спискам, где её имя вообще стоит. И всё это время она сидит в кресле на четвёртом ярусе и держит четыре сектора.

Перст на моём запястье дёрнул руку вверх. Я успел поймать её левой, но кружка на столе всё равно съехала на палец, и все это видели.

— Опять, — сказал док.

— Опять.

— Куда?

— Вверх, — сказал я. — И вбок. Он тянет к четвёртому.

Док взял мою правую кисть, повернул ладонью вверх, посмотрел на серую сухую кожу и опустил обратно на стол.

— Значит так. — Он говорил Аглае, а не мне. — Пока он не в палате, он Ключ не трогает. Ни на подходе, ни в шлюзе, ни на ярусах. Один раз он уже сел в кресло Строителей, и я не хочу узнать, что бывает, когда он делает это на бегу.

— Мне надо прощупать камень, — сказал я.

— С борта, под моим хронометром и на минуту. Всё остальное — нет.

Аглая перебрала ключи и остановила их.

— Принято, — сказала она. — Дорн. Как снимают человека из кресла?

— Никак.

— Ответьте по-другому.

Дорн подняла глаза.

— Из смены не выходят, — сказала она. — Её передают. Всё, что мы видели в Соборе, говорит одно: пост живёт, пока в нём кто-то сидит. Если Долль вынуть, узел встанет.

— И четыре сектора погаснут.

— Четыре сектора погаснут. Это не станции. Это маршруты. По ним в эту минуту идут корабли.

Тарас вытащил ключ из приемка на магните, бросил на стол и вытер о бедро.

— Я правильно понял, — сказал он, — что мы летим спа-

сать одну тётку, и если мы её спасём неправильно, то мы кончим четыре сектора?

— Да, — сказала Аглая.

— Хорошо, — сказал Тарас. — Люблю, когда сразу объясняют.

Он сказал это громко и весело, и потом свистнул сквозь зубы, и свист оборвался на середине.

Я смотрел на кальку и думал не про сектора. Я думал про то, что кабели рубить нельзя, обесточить нельзя, увести нельзя, а значит, всё, что мы можем, это войти внутрь и сделать что-то руками. С людьми, которые там стоят. С восемнадцатью.

— Сорок минут, — сказал я.

— Что? — спросила Аглая.

— Окно. Первый док. Мы входим не тогда, когда темно. Мы входим, когда двое из старой смены стоят на два дока, а новая пьёт чай в тетрадной. — Я нажал пальцем на первый ярус кальки. — Дальше нам не нужно бегать. Нам нужно попасть в второй ярус до того, как смена спустится, и оттуда уже никто не смотрит вниз.

Дорн кивнула один раз.

— Пересменка в восемь ноль-ноль, — сказала она. — Следующая в четырнадцать.

Аглая посмотрела на хронометр, лежавший на столе циферблатом вверх.

— Значит, восемь, — сказала она. — Тарас, шлюз к семи

сорока. Док, аптечка на выход, ты идёшь. Рина — на посту, эфир пишешь весь. Дорн, ваш борт держится в тени кольца и не всплывает, пока я не позову.

— А если позовёте?

— Тогда всплывайте так, чтобы это увидели все.

В 07:15 Рина сидела у своей панели, держала наушник одной рукой и не двигалась совсем.

Я стоял у неё за спиной. Док стоял в дверях, катал в пальцах незажжённую папиросу и смотрел на мой затылок.

— Ещё раз, — сказала Аглая.

— Ещё раз, — согласилась Рина. — Я чищу эфир перед выходом группы. Смотрю всё, что светит в нашу сторону. Пояс шумит, тут четыреста источников, я их за двое суток выучила как соседей. И вот полчаса назад в этом шуме появился один, который не сосед.

Она щёлкнула тумблером, и из динамика пошёл ровный шелест.

— Слышите? Ничего. Он ничего не передаёт. Это узкий луч, он проходит краем, и я его вижу только потому, что он задевает нашу антенну на четверть секунды. Раз в восемнадцать минут.

— Служба маршрутов, — сказала Дорн.

— Восемнадцать минут четыре десятых, — сказала Рина.

Дорн отошла от переборки на шаг.

— Шаг ордера, — сказала она. — Тот же, что был в шве. Восемнадцать и четыре.

— Они нас видят? — спросила Аглая.

— Они видят узел, — сказала Дорн. — Они всегда видят узел, он у них в расписании. Вопрос в том, зачем они сейчас его перепроверяют.

Рина сняла наушник и повесила его на угол панели. Первый раз за переход.

— Есть второе, — сказала она. — Я подняла лог за час. Луч сначала шёл с шагом восемнадцать и четыре. Последние три прохода — восемнадцать ровно.

— Что это значит? — спросил Тарас из дверей.

— Что источник приближается, — сказала Дорн.

Я пошёл в носовой блистер, и все пошли за мной, и это было плохо, потому что нас там помещается трое.

Док поймал моё запястье в проёме.

— Минута, — сказал он. — Пульс девяносто шесть. Считай от ста назад по семь, когда скажу.

Я положил левую ладонь на холодное стекло блистера и открыл Ключ.

Виварий проступил снизу вверх, как проступает сварной шов под краской, когда её греют. Гильдейская обшивка пропала первой: листы, кронштейны, кабельные лотки — всё это было приклеено сверху и в схеме не значилось.

Под ней стоял камень. Тёплый, тем самым чёрным тёплым светом, какой я видел у Собора. В камне шли жилы. Все шесть радиусов были нанизаны на одну втулку, и втулка тянула.

Тянула наружу, в четыре стороны. Четырьмя толстыми жгутами, уходящими за край стекла.

Четыре сектора.

А в самой втулке, в середине, где сходилось всё, светилась одна точка. Маленькая, без мигания. От неё к жгутам шло усилие. Точка держала. Она держала уже так долго, что жилы вокруг неё сплывались в одно и не имели отдельных краёв.

— Сто, — сказал док.

— Девяносто три, — сказал я. — Восемьдесят шесть. Семьдесят девять.

Точка меня заметила.

Это не описывается через приборы. По жиле на шее уда-рило коротко и часто, три раза, потом пауза, потом ещё три, и Третий Перст на мёртвом запястье сжался в кулак сам, без меня, и правая рука пошла вперёд, к стеклу, и я поймал её левой в воздухе.

— Выходи, — сказал док.

Я вышел.

— Она живая, — сказал я. Свист съел половину слова, и я сказал заново. — Она живая. Она меня видела.

— Тридцать четыре года, — сказала Дорн.

Я вытер рот тыльной стороной ладони. Крови не было. Крови не было уже давно, и это меня пугало больше, чем когда она шла.

Дорн стояла у самого стекла, повернув голову так, чтобы протез смотрел вдоль дуги кольца, наружу, мимо станции.

Она стояла так долго. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Аглая.

— Что.

— На дальней дуге вымпел.

Аглая подошла и встала рядом.

— Я ничего не вижу.

— Вы и не увидите. — Дорн не двигалась. — Восемь тысяч тонн, девятый тип. Идёт с погашенными огнями, но вымпел поднят, и вымпел санитарный.

Тарас в дверях перестал вытирать руки.

— Санитарный карантин, — сказал док.

— Санитарный карантин, — повторила Дорн. — Это Беркут. Это Сваль.

Я стоял и считал, потому что больше делать было нечего. Ориентировка на меня висела в открытом эфире третьи сутки, девять миллионов за живого, и всё это время я думал, что за нами пойдут те, кому нужны деньги. За нами пришёл тот, кому нужен я целым.

— До восьми сорок пять минут, — сказал я.

— Сорок пять до окна, — сказала Аглая. — А Беркуту до узла сколько?

Дорн повернулась.

— Меньше часа. Он не идёт к нам. Он идёт к узлу. Он встанет на внешней дуге и объявит карантин, и после этого причальное кольцо закроют по его слову, а не по расписанию.

Аглая положила ладонь на кожух привода, тёплый под пальцами, и подержала её там секунду.

Потом сняла руку и убрала за спину.

— Тарас, — сказала она. — Шлюз не к семи сорока. Сейчас.

— Капитан, там сорок минут ещё не...

— Мы не ждём окна. — Она уже шла к трапу, и ключи на поясе били в такт шагу. — Дорн, ваш борт всплывает, как только я скажу. Док, аптечку. Дан.

— Да.

— Шлюз первого яруса вскрываешь ты. Ключом, руками, чем хочешь.

Я пошёл за ней.

За стеклом блистера шесть радиусов стояли чёрные, с шестью красными огнями на мачтах, и одно окно на третьем радиусе горело жёлтым, немигающим, как горит лампа над койкой, у которой кто-то сидит.

Глава 4. Шестая койка

Шток гермостворки не двигался, и я понял это раньше, чем взялся смотреть.

Дорн держала фонарь в кулаке, прикрыв стекло сверху, и от него на металл падало рыжее пятно размером с ладонь. В пятне стоял запор: скоба, толстый вертикальный шток и наплыв сварки поверх скобы. Кто-то заварил створку изнутри. Не аккуратно, в три прихватки, с брызгами, которые никто потом не сбил зубилом.

— Заварено, — сказал я. Свист съел половину слова, и я показал левой рукой.

— Вижу. — Дорн сдвинула фонарь на палец вправо. — Изнутри. Значит, доком не пользуются.

Наверху, за переборкой, шла смена караула. Их не было видно, их было слышно: лязг разгрузок, топот по решётке, чей-то смех, оборванный на середине. Восемнадцать человек передавали друг другу станцию, и между ними и нами стоял лист в шесть миллиметров. Я слышал, как один сказал другому что-то про воду, а тот ответил, что вода будет в четверг. Обычные слова. От них у меня взмокла живая ладонь, и я вытер её о штанину.

Аглая стояла на два шага позади, у среза переходного рукава, и ключи на её поясе молчали — она перехватила связку резинкой ещё в шлюзе.

— Сколько тебе, — сказала она.

Я оглядел шток, потом наплыв сварки, и прикинул, что будет, если дёрну всё разом.

— Две минуты. Может, три.

— У тебя одна. — Она не смотрела на хронометр, хронометр был у неё в кармане циферблатом вверх. — В семь сорок они разойдутся, и вот тогда мы шумим. До семи сорока мы не существуем.

Док встал сбоку, взял меня за живое запястье и молча отсчитал шестнадцать ударов. Потом отпустил. Тетрадь он не достал.

Я приложил ладонь правой руки к штоку.

Ладонь ничего не почувствовала. Она уже давно ничего не чувствует: ни холода, ни резьбы, ни того, что железо мокрое от конденсата. Чувствует Перст. Хомут на запястье потеплел, потянул кисть на металл плотнее, и через него в меня пошла картинка того, что там внутри. Не картинка даже. Вес. Шток сидел в гнезде на сорок сантиметров, был закисший по всей длине, и держали его не сварка и не скоба, держала его ржавчина — сорок лет мокрого воздуха, спрессованные в один сплошной сухарь.

Сварку я мог сорвать. Она бы лопнула с грохотом на весь ярус.

Я убрал руку.

— Не так, — сказал я и сам себя поправил, потому что вышел свист. — Я скажу иначе. Сварка держит скобу. Скоба

держит шток сверху. Если я рву сварку, звенит вся переборка.

— А если не сварку, — сказала Дорн.

— Если не сварку. — Я снова положил ладонь.

Резать надо было сам шток, ниже скобы, где он входит в гнездо. Тяга Перста работает адресно: ей не объясняют словами, ей показывают точку и направление. Я показал точку в двух пальцах над гнездом и потянул поперёк.

Металл пошёл не сразу. Сначала в мёртвой руке возникло то самое ощущение, которого в мёртвой руке быть не должно, — натяг, как будто держишь ломик, упёртый в тугую гайку. Потом натяг стал больше, чем рука. Он ушёл в плечо, в шею, в челюсть, и жила справа под ухом задёргалась.

Шток срезало.

Звук был короткий и низкий, как будто кто-то один раз стукнул кулаком в бочку с водой. Наверху за переборкой смолкли.

Мы четверо стояли и не дышали.

— Слышал? — сказал голос наверху.

— Компенсатор, — сказал второй. — Он тут всю смену щёлкает.

— Он щёлкает выше.

— Он щёлкает где хочет. Пошли, я жрать хочу.

Топот сдвинулся и стал глуше. Дорн опустила фонарь.

Створка стояла на месте: срезанный шток удерживало собственным весом, скобой и сваркой. Я взял край створ-

ки левой рукой и потянул. Она не подалась. Тогда я подсунил правую, дал Персту короткую команду вбок, и полтонны бронированной двери отъехало на ладонь с шорохом, каким сыпется песок.

За ней был колодец. Служебный ствол, скобы по стене, тьма вниз и тьма вверх, и оттуда потянуло сухим холодом с запахом хлора.

— Слепой ствол, — сказала Дорн, заглянув. — Он не значится в схеме поста. По нему носят бельё.

— Носили, — сказал док. — Судя по запаху, лет двадцать назад.

Аглая шагнула к створке, посмотрела вниз, в темноту, и отступила.

— Я тут, — сказала она. — Радиомаяк у меня, ответ на два щелчка. Дорн, ваш борт всплывает по моему слову. Док.

— Да.

— Он мой навигатор, а не ваш пациент. — Она подумала секунду. — Вру. Он ваш пациент. Считайте его.

— Считаю, — сказал док.

— Сорок минут, — сказала Аглая. — Восемь двадцать. Дальше караул возвращается, а Сваль встаёт над доками и запечатывает нам шлюзы. Что мы не взяли к восьми двадцати, того мы не возьмём вообще.

Я перекинул ногу через комингс, нащупал скобу, зубами перехватил узел косынки на плече и подтянул повыше — плечо ныло со вчерашнего, и правая рука на косынке бол-

талась, как чужая. Скобы были ледяные. Левой я держался, правой не держался вообще: Перст цеплял скобу мёртвыми пальцами и держал вес, но команду ему приходилось давать каждый раз заново, на каждую перехватку, и это было похоже на то, как спускаешься по лестнице, вслух проговаривая каждую ступеньку.

Мы пошли вниз.

Тридцать восемь скоб. Я считал, потому что док всё равно спросит.

Свет наверху сузился до полосы, потом до нитки, потом Аглая задвинула створку, и стало темно совсем.

Третий ярус начинался с двери, у которой не было замка. Я стоял перед ней и не мог понять, что не так, а потом понял: за весь рейс мне не попадалось двери, которую не надо открывать. Здесь просто ручка. Здесь никто не запирается, потому что запирается не от кого — те, кто внутри, никуда не идут.

Дорн толкнула, и на нас вышел свет.

Белый, ровный, из-под потолка сплошной полосой. От него в первую секунду заслезились глаза. Плитка на полу была вымыта до блеска и холодная даже сквозь подошву; в конце коридора кто-то оставил ведро с отжатой тряпкой на краю, и от тряпки шёл пар. Мыли час назад. Может, меньше.

Пахло карболкой. Под ней, глубже, шёл другой запах — тот, который у меня теперь навсегда связан с лазаретом дока,

но здесь его было в двадцать раз больше, и он вьелся в стены.
— Шесть, — сказал док.

Шесть дверей. Три слева, три справа, все с окошками на уровне лица, все открытые в коридор. Койки стояли одинаково: изголовьем к дальней стене, тумбочка справа, стойка под капельницу слева, вытяжка над изголовьем. Одинаково до того, что глаз соскальзывал.

Первая была пуста. Матрас скатан в валик, простыня сложена вчетверо, на спинке койки — латунная бирка на цепочке. Я нагнулся.

СУРМА Г. И на второй строке цифры, которые я не стал читать.

— Тридцать девять лет, — сказала Дорн, не подходя. — Четырнадцать месяцев. Он лежал во второй, не в первой. Их переставляли.

Вторая. КРАН Ю. Третья. СТАВР Л. Четвёртая — бирка стёртая, буквы сошли, осталась только царапина от чьего-то ногтя. Пятая.

БЕК М.

Док остановился у пятой. Постоял. Потом полез в карман, достал спиртовую салфетку в фольге, развернул и стал протирать бирку — методично, как протирают инструмент перед работой. Латунь под пылью оказалась розовой. Он сложил фольгу вчетверо, спрятал в карман, поднёс пальцы к лицу и понюхал.

— Формалин, — сказал он. — И карболка. Двадцать лет

не нюхал.

Дорн смотрела на бирку. Её левая рука с валиками тяги висела вдоль тела и не двигалась совсем.

— Шесть недель, — сказала она. — Он лежал здесь шесть недель, и я приходила сюда каждый день, и мне говорили, что он на наблюдении.

— Он и был на наблюдении, — сказал док.

— Да. — Она отвернулась. — Я тогда думала, что это лечение.

Я пошёл дальше по коридору, к шестой, потому что мне надо было найти спуск на четвёртый ярус, а не читать бирки. Спуска в коридоре не было. Ни люка, ни трапа, ни двери в торце — торец был глухой, крашенный, с прикрученной к нему схемой эвакуации, где четвёртый ярус вообще не значился.

Я стоял и смотрел на схему, когда сзади в тишине что-то стукнуло.

Тихо. Часто. Ритмично.

Насос.

В шестой горел ночник, и под ночником на койке кто-то спал. Стойка капельницы, прозрачный мешок, трубка, и на трубке перистальтический насос с зелёным огоньком — вот он и стучал, раз в секунду с небольшим, монотонно, как будто ему за это платили.

Мальчишка. Стриженный под машинку, худой, с большими кистями, до которых он ещё не дорос. Лет семнадцать.

Одеяло сползло, и на сгибе руки у него сидел катетер, а на скуле — родинка.

Я эту родинку уже видел. Я не сразу вспомнил где.

Док вошёл первым, взял мешок в руку, повернул к свету, прочитал надпись и поставил обратно.

— Стабилизатор, — сказал он очень ровно. — Седьмой номер. Тот же, что Сваль возил в ящике.

— Он не болен, — сказала Дорн.

— Он не болен, — согласился док. — Ему держат границу. Как держат мясо в холодном трюме.

Мальчишка открыл глаза.

Он не испугался. Вот что было хуже всего: он посмотрел на меня, на мою руку на косынке, на комбинезон, и совершенно спокойно завозился на подушке.

— Вы не могли бы, — сказал он сипло. — Перевернуть. Холодной стороной.

Я стоял.

— Пожалуйста, — сказал он. — Простите. Я знаю, что не в смену.

Я подошёл, вытащил подушку из-под его головы здоровой рукой, перевернул и подsunул обратно. Она была тёплая с одной стороны и ледяная с другой. Он благодарно уткнулся щекой в холодное и закрыл глаза, и через секунду открыл снова, уже иначе.

— Вы не Крайн, — сказал он.

— Нет.

— И не санитар. — Он сел. Одеяло сползло совсем; на нём была больничная роба, застиранная до сетки. — У вас нашивки нет. Значит, вы новый.

— Новый кто, — сказал я.

Он глянул на меня так, как глядят на человека, который спрашивает, какой сейчас год.

— Следующий, — сказал он. — Ну, в очереди. Я думал, я следующий, а раз вы пришли, значит, вас поставили передо мной. Это нормально. Так уже было с Беком, его тоже поставили вперёд.

Насос стукнул. Стукнул ещё раз. Тут было тепло, чисто, светло и пахло мылом.

— Как тебя зовут, — сказал я, и свист испортил конец, и я сказал заново. — Как тебя зовут.

— Мирко Ставр. Мне семнадцать лет и два месяца. — Он проговорил это ровно, как отвечают на перекличке. — По порядку это значит десять месяцев.

— Десять месяцев до чего.

— До восемнадцати. — Он поправил трубку на сгибе локтя, чтобы не тянула. — После восемнадцати кандидата переводят на подготовку. Я читал порядок, он на втором ярусе, в тетрадной. До перевода никто не доживал, но это, наверное, потому что раньше носители умирали не вовремя.

Дорн стояла в дверях и держалась протезом за косяк. Я услышал, как валик тяги в её руке щёлкнул.

— Ставр, — сказала она. — Лея Ставр. Дело номер четы-

ре.

— Двадцать месяцев, — сказал Мирко. — Это моя мать. Я её не помню, мне был год. — Он помолчал. — Вы из Гильдии? У вас глаз.

— Была.

Я стоял между шестой койкой и пятью пустыми и наконец сложил то, что видел с самого коридора и не хотел складывать. Палаты не лечебные. Палаты — склад. Ключ нельзя вынуть из живого носителя, значит, ждут, пока носитель умрёт; а пока он умирает, рядом держат тело, в которое Ключ переставят. Тело кормят, поят, стабилизируют и стригут под машинку. И тело знает, чем оно тут числится, и вежливо просит перевернуть подушку.

Пять бирок — это не память. Это отчётность.

— Мирко, — сказал я. — Где спуск на четвёртый.

— На четвёртый нельзя.

— Я знаю, что нельзя. Где.

Он скосил глаза на дверь, потом на меня, и в первый раз за разговор чего-то испугался — не нас.

— В тетрадной, — сказал он. — Ключ от шахты у Крайна.

Он на втором ярусе, он в это время всегда пишет. Он пишет с шести до девяти, у него потом руки дрожат.

— Он поднимет тревогу.

— Крайн? — Мирко удивился совершенно искренне. —

Нет. Тревогу поднимает караул. Он караул.

Тетрадная пахла бумагой, и от этого запаха у меня заломило в затылке — я не сразу понял почему, а потом вспомнил, что так пахли кальки Верте.

Здесь не было белого света. Здесь была одна лампа на гусаке над столом, и весь остальной объём стоял в пыльном полумраке, и в полумраке от пола до потолка шли полки. Тетради. Клеёнчатые, корешок к корешку, подписанные от руки по годам. Я повёл глазами по нижнему ряду и стал считать, и бросил на сорока.

— Восемьдесят одна, — сказала Дорн шёпотом. — Четыреста лет.

За столом сидел человек в белом халате и писал.

Мы вошли втроём, и вошли не тихо: док задел плечом косяк, я стукнул скобой карабина о притолоку. Человек в халате дописал строку до конца, поставил точку, снял очки на шнурке, протёр их полкой халата и надел обратно.

Потом посмотрел на нас.

Потом посмотрел на хронометр на столе.

— Восемь семнадцать, — сказал он. — Простите, я запишу.

И записал.

Док поднял ствол карабина. Я видел, как он это сделал, и видел, что он сам этому не рад.

Крайн на ствол не отреагировал вообще. Он придвинул к себе раскрытый разворот, наклонился и сдунул со страницы крошки — там осталось надкусанное галетное печенье, и

труха просыпалась в сгиб. Сдувал он их долго и тщательно, по одной стороне, потом по другой.

— Караул на первом ярусе, — сказал он, не поднимая головы. — Смена закончится в восемь двадцать. Если вы хотите, чтобы я поднял тревогу, я не буду. Это не мой регламент. Я наблюдатель.

— Ключ от шахты четвёртого яруса, — сказал я.

Тогда он поднял голову.

Он смотрел не на карабин и не на лицо. Он смотрел на мою правую руку — на косынку, на серую кисть, на хомут Третьего Перста, вросший в запястье, и на жилу, которая шла у меня из-под воротника на шею и дальше под ухо.

— Сядьте, — сказал он.

— Ключ.

— Молодой человек, у вас правая половина лица не работает. — Он говорил спокойно и негромко, тем самым голосом, каким док говорит «сядь». — Граница у вас по краю нижней челюсти, а не по ключице, и держится она, судя по цвету, недели полторы. Я это видел пять раз. Я знаю, как это идёт дальше, и знаю, сколько это идёт. Сядьте, пожалуйста.

Я не сел.

Док опустил карабин на локоть.

— Кто вёл шестую палату, — сказал он.

— Я.

— Год?

— Год и два месяца. — Крайн взял карандаш, покрутил

и положил обратно. — С двенадцати лет он под наблюдением, у меня — с прошлой весны. Дар подтверждён трижды. Слышит сеть живым ухом, без порта. Прекрасный мальчик, вежливый.

— Вы держите ребёнка на стабилизаторе седьмого номера, — сказал док.

— Держу.

— Зачем?

— Потому что носитель на четвёртом ярусе живёт четвёртое десятилетие, — сказал Крайн, — и это на тридцать три года дольше расчётного, и однажды она всё-таки перестанет. А сеть в нейтрале сорок шесть суток, и четыре сектора висят на одном посту. Вы спросили зачем. Я ответил зачем. Если вы спросите, считаю ли я это правильным, я отвечу, что меня об этом не спрашивали ни разу за тридцать лет.

Он сказал это без вызова и без оправдания. Как читают запись.

— Ирма Долль числится умершей тридцать четыре года, — сказала Дорн. — Я видела реестр.

— В реестре Гильдии — да. — Крайн повернулся к ней и вдруг замер. Совсем ненадолго. — Простите. Вы Дорн?

— Я.

— Вилена. — Он произнёс имя аккуратно, как произносят диагноз, в котором можно ошибиться. — Вас привозили сюда санитарным. Двадцать лет назад, левая рука до локтя, ожог четвёртой степени с некрозом по ходу вен. Вы лежали

в четвёртой палате одиннадцать суток, и вас увезли.

— Меня увезли, — сказала Дорн.

— Вас увезли, потому что процесс встал. — Он выдвинул ящик стола, не глядя, и достал из него тонкую папку. Папка была подписана и оказалась сверху, как будто он её вчера смотрел. — Я тогда написал в графе «исход»: прервана. Я ставил это слово один раз в жизни. Я двадцать лет надеялся, что вы его не увидите.

Дорн не ответила.

Я смотрел на полки. Восемьдесят одна штука — это четыреста лет, это не тридцать; значит, до Крайна тут сидели другие, и каждый писал, и никто ни разу ничего не сделал, потому что сделать было нечего, а писать было надо. Четыреста лет протоколов о том, как умирают люди, которых привозят сюда умирать по расписанию.

И вдруг я понял, что смотрю не на архив.

Я смотрю на дело своего отца. Оно тут где-то стоит. Год, корешок, номер.

Жила на шее дёрнулась, и Третий Перст сам потянул руку вперёд, к полкам, и я поймал её левой в воздухе и прижал к боку.

Крайн это заметил. Он всё замечал.

— Тяга, — сказал он с интересом. — Это инструмент? Простите, я запишу.

— Восемь двадцать одна, — сказал док. — Времени нет.

— Времени нет, — согласился Крайн.

Он взял восемьдесят первую тетрадь — ту, что лежала перед ним раскрытой, — и захлопнул её. Крошки от галеты, которые он не додул, брызнули по столу.

Потом он поднял глаза на дока. Не на меня, не на Дорн, не на карабин. На нагрудный карман его комбинезона, из которого торчал угол клеёнчатой обложки, распухшей от вложенных бумажек.

— Коллега, — сказал Тодор Крайн. — У кого из нас двоих больше записей?

Глава 5. Из смены не выходят

Док не ответил сразу. Он вытянул из нагрудного кармана свою клеёнчатую тетрадь, положил её на стол рядом с восьмьдесят первой и придавил ладонью, чтобы не раскрылась.

— Две, — сказал он. — Девяносто суток и две. Одна кончилась на середине.

Крайн наклонил голову и посмотрел на обложку через очки, снизу вверх, как смотрят на снимок.

— У меня восемьдесят одна. Тридцать лет. — Он снял очки и стал протирать их полой халата. — Порядок один и тот же, коллега. Я это увидел на второй вашей фразе.

Наверху что-то стукнуло. Не близко: два яруса железа и вентиляционный короб под потолком тетрадной, уходящий куда-то в первый ярус. Стук повторился, потом пошёл ровнее — шаг, шаг, лязг подковки о настил, и всё это множилось на восемнадцать пар ног и на пустой станционный коридор.

Я посмотрел на короб.

— Караул, — сказал Крайн. — Они вернулись на посты в восемь двадцать. Пять минут назад. Теперь до двух часов дня у вас не будет ни одной пустой лестницы наверху.

— Мы вниз, — сказал я.

Свист вышел вместо шипящих, и слово вышло рваным. Правая сторона лица не двигалась седьмую неделю, и я привык слышать себя со стороны: начало моё, конец — сиплая

дырка. Крайн выслушал её без единого движения бровей. Он слышал и не такое.

— Вниз, — повторил он. — На четвёртый ярус.

— К Ирме Долль.

Он положил очки на обложку. Помолчал. Потом взял карандаш, придвинул восемьдесят первую и раскрыл на чистом развороте.

— Простите. Я запишу.

— Некогда, — сказал док.

— Мне некогда тридцать лет. — Крайн уже писал: дата, потом время, восемь двадцать пять, потом с новой строки. — Я записываю не для вас. Носитель, мужчина, около двадцати двух. Граница процесса — правый край нижней челюсти, стоит, судя по цвету, полторы недели. Паралич правой половины лица, полный. Правая кисть... — Он поднял глаза. — Покажите правую кисть.

Я не показал.

Левой рукой я держал правую у бока с той минуты, как Перст потянул её к полкам. Он тянул до сих пор. Тяга шла ровно вперёд, чуть вниз, в сторону стеллажа с корешками годов, и не думала слабеть. Сорок восемь суток эта штука сидела у меня на запястье хомутом и первый месяц не делала ничего своего.

— Тодор Крайн, — сказала Дорн. От двери. Она стояла там, где встала, и не сдвинулась ни на шаг. — Ключ от шахты.

— У меня.

— Отдайте.

— Отдам. — Он дописал строку и поставил точку. — Сначала скажу то, что обязан сказать. Тридцать лет я вожу вниз одного себя, и то раз в неделю, и то до отметки на площадке. Ниже отметки не хожу. И скажу вам вот что: с того поста живым не вставал никто. Никогда. За четыреста лет — ни одного случая, я просмотрел все восемьдесят одну подряд, у меня было время.

— Она живая, — сказал я.

— Она в смене. — Он аккуратно закрыл колпачок на карандаше, хотя карандаш был простой. — Это разные состояния, и я не знаю, как объяснить разницу человеку, который туда идёт впервые. Она живая ровно настолько, насколько нужно посту. Если вы придёте её спасать, вы её убьёте, а вместе с ней погаснут четыре сектора пояса. Это не угроза. Это то, что я тридцать лет пишу в графу «примечания».

Док достал сигарету, посмотрел на неё и убрал. В тетрадной пахло бумагой, старым клеем и мышами.

— Четыре сектора, — сказал я. — Сколько на них людей.

— Мне не сообщают. — Крайн развёл руками. — Я наблюдатель. Мне сообщают вес.

Наверху опять пошёл шаг. Ближе к стволу, потом дальше. Я считал по звуку, как считал бы такт маршрута, и получалось, что они ходят по кругу первого яруса и заглядывают в ствол каждые полторы минуты. До причалов Свалю оставалось двадцать пять минут. Значит, у меня их тоже двадцать

пять, и потом в доках встанет заградитель под карантинным флагом, и вопрос лестниц станет несмешным.

— Ключ, — сказал я ещё раз.

Крайн посмотрел на мою руку.

Он не мог её видеть: рукав распорот, кисть прижата к боку, поверх — левая ладонь. Но правая в этот момент дёрнулась сама, коротко и вбок, и потащила меня за собой на полшага, и я услышал, как под рукавом коротко скрипнул металл хомута о кость.

Крайн встал.

Он обошёл стол, взял мою правую руку двумя пальцами за рукав, поднял и отвернул ткань. Сделал он это как врач: быстро, без спроса и без отвращения. Серая сухая кисть, чёрные жилы до локтя, и на запястье кольцо тёплого чёрного камня, вросшее в кожу так, что не поймёшь, где граница.

Он смотрел на него секунд пять.

— Это с престола, — сказал он. — Простите. Я запишу это отдельно, потом.

Он отпустил рукав, снял с шеи шнурок, на котором висели очки, и с того же шнурка, ниже, снял второй предмет: короткий трёхгранный ключ, отполированный до блеска ладонями. Такими ключами открывают гидроупоры на бронелюках, и на верфях у нас их звали грушами.

— Идёмте, — сказал он. — Я отопру. Замок закисает, вы будете дёргать и разбудите весь ярус.

— Вы не поднимете тревогу, — сказала Дорн. Не вопро-

сом.

— Нет.

— Почему.

Тодор Крайн взял со стола восемьдесят первую, сунул её под мышку и пошёл к двери, и халат на нём был белый до синевы, единственное белое пятно на этой станции.

— Потому что я тридцать лет вёл её к дате, которую мне называли заранее, — сказал он. — И ни разу не написал в графе «исход» ничего своего. Мне шестьдесят три. Я хочу один раз посмотреть, что бывает, когда в неё пишет кто-то другой.

Бронелюк шахты стоял в тупике служебного коридора, за стеллажом с ветошью, и был выкрашен той же казённой краской, что и стены, чтобы не бросался в глаза. Крайн ото-двинул стеллаж, вставил ключ в квадратное гнездо и провернул восемь раз, считая обороты вслух. Упоры пошли из гнёзд по одному, с сухим стуком.

Из-под люка потянуло сыростью.

Сырость оседала на губах тяжело, как пар в трюме. Вместе с ней снизу шёл гул. Низкий, ровный, ниже всего, что я слышал на кораблях. Он не был звуком. Он стоял в груди-не и давил изнутри, как давит вес, если долго держать его на вытянутых руках.

Кость челюсти отозвалась первой.

— Четыре жилы, — сказал я. — Магистральные. Сходятся под настилом.

— Я не слышу, — сказал Крайн с интересом. — Никогда не слышал. Восемьдесят метров вниз, скобы через тридцать сантиметров, на сорок втором метре площадка и отметка красной краской. Дальше я не ходил.

Я взялся левой за первую скобу.

Спуск вышел долгий. Правой рукой я держал скобу мёртвым хватом Перста — кисть сжималась и не чувствовала, а разжать её я мог только мыслью, и на каждой перехватке уходила лишняя секунда. Стена шахты была мокрой. Ниже красной отметки гильдейская краска кончилась, и под ладонью пошёл камень.

Чёрный, тёплый, матовый.

Я знал этот камень. Я лежал на нём лицом на восьмидесятиметровой глубине Иглы и сдирал с плиты собственные пальцы. Здесь он был такой же, только сверху его двести лет обшивали железом, и обшивку кто-то содрал: панели висели на одном болте, кабельные трассы шли поверх голой породы, и лотки были прикручены к камню самодельными хомутами, потому что в этот камень не входит ни один анкер.

Внизу гул стал ровнее и перестал давить. Он лёг на такт.

Раз. Пауза. Раз.

И в паузе, сухо, спокойно, без выражения, кто-то считал.

— Сорок семь. Сорок восемь.

Машинный зал четвёртого яруса был длинный и низкий, и настил в нём лежал решёткой. Под решёткой, метрах в двух ниже, шли четыре жилы: чёрные, толщиной в человека, они

выходили из стен с четырёх сторон и сходились под центром зала. В точке схождения стоял столб света. Не лампа. Свет шёл из самой породы, тёплый и матовый, и от него у всех у нас были одинаковые серые лица.

Воздух был сухой и горячий, с привкусом жжёной пыли на зубах, и драл в носу, как свежая окалина у сварочного поста. После сырости шахты его хотелось выплюнуть.

Кресло стояло над втулкой.

Оно росло из пола. Не привинчено, не поставлено — вышло из плиты, как выходит корень, и на нём сидела женщина, и там, где у человека бёдра, кресло и человек были одно. Ткань, кожа и камень переходили друг в друга без границы, и на этой границе всё было сухое и серое. Волос не было. Голову держали две подпорки, вживлённые под скулы, обмотанные бинтом и подписанные чернильным номером.

Глаза были живые. Это ударило первым.

Я думал, что готов. В куполе Иглы я видел оператора, который просидел на посту тысячу лет и рассыпался пеплом за две секунды, — тот был мёртвый и просто ещё не знал об этом.

Эта считала.

— Ирма Долль, — сказала Дорн.

— Пятьдесят девять. Шестьдесят.

Долль договорила счёт до конца, и в этот момент гул под настилом сделал такт, и она закрыла глаза на полсекунды, и открыла.

— Один, — сказала она. — Два.

Док прошёл вперёд меня. Он всегда так делает, и я всегда замечаю это на секунду позже, чем надо. Он присел на корточки у края втулки и приложил тыльную сторону ладони к породе, на ощупь, как щупают лоб.

— Тёплый, — сказал он. — Тридцать восемь, тридцать девять. Как человек.

Потом он повёл ладонь дальше и тронул кожух, привинченный к камню, — гильдейский датчик в жестяной коробке с манометром. Зашипело. Док отдернул руку и потряс кистью в воздухе.

— Восемьдесят, — сказал он ровно. — Здесь под сто, а прибор показывает сорок два. Двести лет он тут врёт, и двести лет кто-то переписывает его в журнал.

Он сунул обожжённые пальцы под мышку, а другой рукой достал из кармана пачку — сплюсненную, пустую, с надорванным углом — и стал катать сухую папиросу, не глядя, одними пальцами. Он делает это, когда нельзя курить и когда нечего сказать.

— Одиннадцать, — сказала Долль. — Двенадцать.

Дорн двинулась вдоль стены и задела протезом за угол монолита. Звук вышел сухой и деревянный, совсем не как металл. Она одёрнула рукав и не посмотрела ни на кого.

Я подошёл к креслу.

— Ирма Долль, — сказал я. — Меня зовут Дан Веко. Мы пришли за вами.

— Девятнадцать. Двадцать.

— Мы можем вас забрать. Наверху ствол, наверху борт. Двадцать минут.

— Двадцать пять. Двадцать шесть.

Она смотрела на меня. Всё это время она смотрела прямо на меня и считала, и её взгляд стоял чуть выше моего плеча, ровно и мимо, как стоит взгляд у слепых. Губы двигались мало. Голос был сухой, шелестящий, и в нём не было ни одной лишней ноты.

— Она нас не слышит, — сказала Дорн.

— Слышит, — сказал док. Он поднялся с корточек. — Ирма. Меня зовут Милош Вей, я врач.

— Тридцать четыре. Тридцать пять.

— Врача она слышала тридцать лет, — сказал я. — Хватит.

Я обошёл кресло справа. Гул шёл снизу и через камень в подошвы, и я поймал себя на том, что пальцы левой руки на бедре отстукивают её счёт. Не мой ритм. Её. Я разжал ладонь и прижал её к штанине, и пальцы всё равно отстучали.

— Вы считаете такт, — сказал я. — Между двумя ударами шестьдесят четыре секунды. Вы держите счёт, чтобы не потерять место.

Долль досчитала.

— Сорок семь, — сказала она. — Сорок восемь.

И тогда правая рука пошла вперёд.

Она пошла сама, от плеча, ровно и без рывка, и потяну-

ла меня к втулке, к точке схождения четырёх жил, и я успел перехватить её левой уже в воздухе. Хомут на запястье нагрелся. Не обжёг — потеплел, как теплеет металл в кулаке.

Долль остановилась на счёте.

Она молчала три или четыре секунды, и за это время гул под настилом ушёл и вернулся, и она этого не заметила, а я заметил, и мне стало холодно в горячем зале.

— Кто здесь, — сказала она.

— Дан Веко.

— Ты не голос. — Она повернула голову на миллиметр, сколько позволили подпорки. — Голоса приходят на второй час после воды. Ты тянешь. Голоса не тянут. Тянет только железо.

— Это не голос, — сказал док.

— Ты свистишь, — сказала Долль мне. — На шипящих. Правая, нижняя ветвь. И жила у тебя стоит на месте давно. Полторы недели, если по голосу.

— Полторы.

— Значит, у тебя есть, — сказала она. — Пустые не свистят.

Она замолчала и стала считать заново, с единицы, и досчитала до двенадцати, и остановилась.

— Слой, — сказала Ирма Долль. — Назови точно. С пустыми я не разговариваю. Пустые приходят с бланком.

Док встал у меня за левым плечом. Он ничего не сказал, но я знал, что он смотрит на мою шею, туда, где жила подхо-

дит под ухо и где полторы недели стоит граница.

Я мог сказать четыре.

Мысль пришла целиком и сразу, готовая, как приходят все плохие мысли. Сказать четыре — и она отдаст всё, что копила в этом кресле, за один раз, без экзаменов, потому что четвёртый слой — это тот, кто может переписать её кресло. У отца в реестре стоит четыре. У меня в ротонде камень вписал три, и над четвёртым стоит слово «заблокировано», и я никому на борту про это не сказал.

— Три, — сказал я. — Слой три. Ремесленник. Активен, учтён.

Пальцы левой руки отстучали её такт.

— Четвёртый? — спросила Долль.

— Закрыт.

Я не стал говорить, почему закрыт и что там написано. Она подождала. Она умеет ждать лучше всех, кого я видел.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Три — это работа. Три может держать. Сядь на настил, Дан Веко, ты стоишь неровно, я слышу по шагу. И считай вслух вместо меня, пока я говорю, иначе я собоюсь и потеряю место.

— Ему нельзя нагрузку, — сказал док.

— Ему нельзя ничего, — согласилась Долль. — Считай.

Я сел на решётку. Снизу шло тепло, и через решётку было видно, как в жиле идут медленные светлые полосы, слева направо, все в одну сторону.

— Один, — сказал я. — Два.

— Четыре сектора, — сказала Ирма Долль. — Пояс делят на сектора по узлам, а не по расстоянию, поэтому люди думают, что узел — это перекрёсток. Узел — это натяжка. Здесь сходятся четыре жилы, и на каждой висит сектор, и всё, что здесь делается, — это держать натяжение ровным, когда сеть дышит. Она дышит сама. Сорок шесть суток она в нейтрالي, и тяжелее этого в кресле у меня не было ничего.

— Тринадцать, — сказал я. — Четырнадцать. Почему тяжёлое.

— Потому что в нейтрالي нет тяги, — сказала она. — Когда тянет, я иду за тягой. Сейчас не тянет, и держу я. Одна.

— Восемнадцать. Деятнадцать.

— Кто-то сбросил натяжение по всей сети, — сказала Долль. — Я тогда чуть не потеряла второй сектор.

Я досчитал до двадцати трёх и перестал.

Док перестал катать папиросу. Дорн повернула ко мне протез окуляра, и он щёлкнул на фокусе. Сорок шесть суток — это тридцать третьи сутки, это купол Иглы, это выдох, на котором я стравил слабинку четвёртой струны и раскрыл петлю над Приютом, и четыреста двадцать четыре человека остались живы.

— Двадцать четыре, — сказал я. — Двадцать пять.

— Ты сбился на такт, — сказала Долль. — Это был ты.

— Это был я.

— Тогда ты понимаешь половину. — Она сглотнула, долго и трудно, и я только теперь заметил трубку: от капельни-

цы над креслом к углу рта, заросшую изнутри белым солевым налётом почти под самый просвет. Долль потянула из неё воду, и налёт заскрипел. — Остальное скажу словами, времени у тебя нет. Ты пришёл меня забрать.

— Да.

— Забрать нельзя, — сказала Ирма Долль. — Из смены не выходят. Смену передают.

— Тридцать. Тридцать один, — сказал я. — Объясните.

— Пост — это не кресло. — Она говорила ровно, будто читала. — Кресло — железо, кресло можно разрубить. Пост — это строка. Меня не держат ремни, Дан Веко. Меня записали. Тридцать четыре года назад я села сюда сама и ответила на запрос, и с этой секунды в четырёх строках сети вместо номера стоит моё имя. Пока стоит моё имя, четыре сектора считают, что натяжку держит Ирма Долль. Вынь меня отсюда — и в четырёх строках останется пустое место. Не ноль. Пустое место. Разницу объяснить?

— Не надо, — сказал я.

Я видел пустое место. Я видел, как на Соборе гаснет дверь, за которой были люди.

— Восемь миллионов, — сказала Долль. — Мне называли вес, я перевела в людей сама, тридцать лет назад, по грузообороту. Может быть, теперь меньше. Считай, пока я говорю.

— Тридцать восемь. Тридцать девять.

— Значит, единственный способ снять меня — поставить

в строку другое имя, — сказала она. — Или другую вещь. Живую. Такую, которая держит натяжку и не устаёт. Я такой не знаю. Тридцать четыре года не знала.

Правая рука дёрнулась у меня на колене. Хомут был горячий.

Долль услышала.

— У тебя на запястье строительская вещь, — сказала она.

— Я слышу её тягу отсюда. Что это.

— Перст, — сказал я. — Третий. Их шесть.

Она молчала долго. Гул сделал такт, и она снова закрыла глаза на полсекунды, и снова открыла, и в этот раз глаза были другие.

— Шесть, — сказала она. — Шесть гнёзд.

— Ирма, — сказал док. — Всё. Хватит. У него пульс за сто, он час назад работал рукой, и если вы сейчас...

— Милош Вей, — сказала Долль. — У вас тетрадь клеёнчатая?

Док замолчал.

— Я видела десяток таких, — сказала она. — Все ввали одинаково: писали кровь. Кровь считает любой дурак с полотенцем.

Док очень медленно достал из нагрудного кармана свою клеёнку, посмотрел на неё и убрал обратно.

— Я не пишу кровь, — сказал он.

— Тогда стойте где стоите, — сказала Долль. — Дан Веко. Ты назвал три. Три — это Ремесленник, это тот, кто чинит

железо и держит струны, и этого мало для того, что ты придумал, пока сюда шёл. Скажи мне, кто вписал тебя в реестр.

— Никто, — сказал я. — Камень. В ротонде. Двадцать девять суток назад.

— Где ротонда.

— Собор.

— Не знаю такого, — сказала она. Впервые в её голосе появилось что-то, кроме счёта. — Мне называли восемь станций за всё это время. Собора не называли.

— Он старше их всех, — сказал я. — И на нём написаны все имена. Ваше тоже. Ирма Долль, действующая.

Она сглотнула ещё раз, и трубка заскрипела, и я услышал, как в этом скрипе у неё пошёл счёт заново, с единицы, беззвучно, одними губами. Она досчитала до сорока восьми, и гул под настилом дал такт, и Ирма Долль медленно повернула ко мне серые невидящие глаза.

— Двадцать три года назад через Виварий вели человека, — сказала она. — Его вели наверх, а он сошёл вниз, потому что умел открывать то, что заперто. Он просидел на этом настиле четыре часа. Он говорил быстро, как ты, и так же глотал шипящие, только у него это было от спешки, а не от жилы. Он сказал мне две фразы, которые я не отдам сегодня.

Я не дышал.

— Он был Веко, — сказала она.

— Ярко, — сказал я. — Мой отец.

— Я знаю, — сказала Ирма Долль. — Я слышала твою

строку. Она пришла на четвёртые сутки после того, как её вписали, я держала её у себя, потому что новые строки в этом секторе приходят раз в двадцать лет и мне было чем заняться.

Она замолчала. Дорн сделала шаг и остановилась.

— Дан Веко, — прочитала Ирма Долль, ровно и без единой запинки, как читают то, что повторяли вслух много раз. — Слои три. Принят к смене двадцать девять суток назад.

Глава 6. Очередь

Скобы шли вверх ровно, через тридцать сантиметров, и на восемьдесят метров подъёма их хватало с запасом. Считать я перестал на второй сотне. Правая рука сама защёлкивалась на прутке, хомут Перста держал её крепче, чем держали бы пальцы, и я поднимался, как поднимается груз на лебёдке: рывок, стоп, рывок.

Гул четвёртого яруса остался внизу. Он не пропал, он ушёл в кость и стучал оттуда, из челюсти, ровно, как стучал под настилом у кресла.

Крайн вылез из люка последним, с восемьдесят первой тетрадью под мышкой, и сел на палубу третьего яруса, не отряхнув халат. Впервые за это утро белое пятно на нём было грязным.

— Девять ноль восемь, — сказал док, посмотрев на хронометр. — Пульс.

Он взял меня за левое запястье и держал шестнадцать ударов, глядя мимо, в стену.

— Сто четыре. Сидя.

— Мы не сидим, — сказал я. Шипящие вышли свистом, как выходят с Собора.

— Я оптимист.

Коридор был длинный, кафель по щиколотку холодный даже сквозь подошву, и лампы под потолком горели через

одну — экономия, заведённая тут, наверное, вместе со станцией. Шесть дверей по левой стороне. Пять с бирками. Латунь у бирок протёрта до блеска в одном и том же месте, там, где её брали пальцами, чтобы прочесть.

Дорн шла вдоль них и не смотрела. Она эти пять уже прочитала утром.

Шестая палата была открыта.

Мирко Ставр сидел на койке, спустив ноги, и ждал. Не лежал, не спал. Сидел ровно, поставив ступни на холодный кафель, в застиранной робе, и капельница стояла рядом на штативе с колёсиком, и прозрачная трубка шла от неё в сгиб его левого локтя. Насос под флаконом щёлкал раз в четыре секунды.

— Вы вернулись, — сказал он. — Я слышал вас в трубе. Вы спускались вниз, потом стояли внизу двадцать три минуты, потом поднимались. Внизу Ирма.

— Ирма, — сказал я.

— Мы с ней перестукиваемся год, — сказал Мирко. — Через ярус. Я её никогда не видел. — Он подумал и добавил, как добавляют к описи: — Мне семнадцать лет и два месяца. По порядку это значит десять месяцев.

Док подошёл к штативу, поднял флакон к лампе и прочитал бумажку на боку. Ничего не сказал. Поставил обратно.

— Стабилизатор номер семь, — сказал Крайн от двери. — Поддерживающая доза. Она ему не вредит, коллега. Она держит границу.

— Границу чего, — сказал док.

Крайн снял очки и подышал на стёкла, потом долго вытирал их полой халата. Это заняло у него секунд десять.

— Границу распада, — сказал он. — У мальчика её пока нет. Препарат назначен профилактически. Так написано в назначении, и я его подписал, и я это записал.

— Тридцать лет писали, — сказал я.

— Тридцать. — Он надел очки. — Этот разговор я тоже занесу. С временем.

Мирко переводил взгляд с одного на другого, вежливо и молча. Так смотрит человек, которого год учили не мешать.

— Я не понимаю, — сказал он наконец. — Меня снимают с капельницы? Сейчас не время. Меня снимают в шесть утра и в шесть вечера, на двадцать минут, чтобы я ходил.

— Тебя снимают совсем, — сказал я.

— Нельзя совсем. Я нужен узлу. — Он сказал это спокойно, как называют массу груза. — Ирма одна тянет четыре сектора. Когда она не сможет, поставят меня. Мне это объяснили, когда мне было двенадцать. Я слышу сеть живым ухом, таких мало, и меня поэтому кормят и лечат.

Док вынул из сумки корнцанг, зажал спиртовой тампон, серый по краю, и посмотрел на Крайна. Крайн ничего не сделал. Тогда док взял руку Мирко, положил её себе на ладонь, как клал мою, и выдернул иглу одним движением.

— Прижми, — сказал он и придавил тампон его же пальцами. — Три минуты. Не отпускай.

Потом полез во внутренний карман, достал мятную карамельку в бумажке и сунул мальчишке за щёку.

— От спазма. Будет крутить в животе, когда насос отойдёт. Соси, не грызи.

Мирко послушно сунул фантик в карман пижамы. Липкий, он прилип к ткани изнутри, и мальчишка потом машинально придавливал его через карман, всю дорогу, до самого низа.

— Ключ нельзя вынуть из живого, — сказал я. — Ты знаешь это?

— Знаю, — сказал Мирко. — Из живого не вынимают.

— Тогда посчитай, — сказал я. — Ирма живая. Ключ у неё. Ты — тело в очереди. Очередь двинется, когда она умрёт. Кто её убьёт, если она не умирает с того дня, как её похоронили?

Тишина стояла плотная. Насос без иглы щёлкал в пустоту и капал на кафель.

— Мне не говорили так, — сказал Мирко.

— Вам говорили «подготовка», — сказала Дорн.

Она стояла в дверях, и её левая рука висела вдоль тела, восковая, без пор.

— Пойдёмте, — сказала она. — Это займёт две минуты.

Она пошла обратно вдоль дверей, и мальчишка встал и пошёл за ней босиком по ледяному кафелю, потому что за ним пошли все, и он не умел остаться.

Дорн останавливалась у каждой бирки и трогала латунь

протезом.

— Гнат Сурма. Тридцать девять лет назад, четырнадцать месяцев. — Шаг. — Юзеф Кран, двадцать семь лет, четыре месяца. — Шаг. — Лея Ставр. Двадцать три года назад. Двадцать месяцев.

Мирко остановился.

— Это моя мать, — сказал он. Голос у него не дрогнул, он просто стал тише. — Дело номер четыре. Двадцать месяцев. Мне сказали, она умерла в рейсе.

— Она умерла здесь, — сказала Дорн. — В этой палате. Через стенку от той, где сейчас лежишь ты.

Она прошла ещё две двери.

— Мирон Бек, двадцать лет назад, шесть недель. — Она положила протез на пустую латунь без надписи. — А это четвёртая. Без имени, потому что тот, кто в ней лежал, встал и ушёл своими ногами. Одиннадцать суток. Двадцать лет назад.

Она подняла левую руку и подержала её на весу, чтобы он посмотрел.

— Меня привезли сюда санитарным грузом, — сказала она. — Мне было двадцать. Я держала Бека, когда он распался, и мне сожгло руку до локтя. Я выжила потому, что у меня не было Ключа. Меня отпустили, и я двадцать лет ловила для них тех, у кого он был. Вот что такое подготовка.

Мирко смотрел на пять бирок и молчал, и я видел, как он их пересчитывает — губами, беззвучно, слева направо и

обратно.

— Пять, — сказал он. — И шестая моя.

— Шестая твоя, — сказал я.

Крайн стоял у стены и держал тетрадь обеими руками, прижав к халату.

— Ирма Долль ждёт сменщика с того дня, как вы завели на неё дело, — сказал я ему. — Сменщика ждут. А вы ждали не сменщика. Вы ждали даты. Вы её знали заранее?

Он молчал очень долго. Насос в шестой палате отсчитал ударов десять.

— Мне назвали срок в первый год, — сказал Крайн. — Расчётный. Он давно вышел. Она его пережила на двадцать один год, и каждый раз, когда я подавал рапорт, мне отвечали одной строкой: продолжайте наблюдение. — Он снял очки и не стал их протирать, просто держал в руке. — Я не лечил её тридцать лет, Веко. Я тридцать лет вёл её к дате, которую мне назвали заранее. Палата номер шесть — это не палата. Это очередь.

Он сказал это и стоял.

Он ждал этого разговора дольше, чем Долль ждала сменщика.

— Архив, — сказал я.

— Второй ярус, — сказал Крайн. — Я открою.

Тетрадная пахла пылью и клеем так густо, что док на пороге поморщился и убрал руку от кармана с папиросами. Полка вдоль всей стены, восемьдесят одна клеённая тет-

радь по годам, корешки подписаны от руки. Стол под лампой, стакан с карандашами, вымытый до скрипа.

Сейф стоял в углу, в нише, и в нишу его ставили раньше, чем ставили стену: кладка обходила его по контуру. Броневая дверь на две ладони толще, чем нужно бумаге. Наверху, над рукояткой, серая коробка с двумя проводами в металло-рукаве и красной пломбой.

— Термическая, — сказала Дорн. — Не трогайте рукоятку. Три неверных попытки, и она прожжёт содержимое насквозь. Сначала бумагу, потом пол.

— Код у меня есть, — сказал Крайн. — Он не мой. Я сдаю дела врачу приёмной комиссии раз в год, по описи, и открываю при нём. Сегодня приёмной комиссии тут нет.

— Сегодня есть врач, — сказал док.

Крайн посмотрел на него, и они постояли так секунды три, два одинаковых человека с клеёнчатыми тетрадами.

— Девяносто суток и две, — сказал Крайн. — У меня тридцать четыре года и восемьдесят одна. Хорошо, коллега. Я наберу.

Он набрал. Замок щёлкнул один раз, глухо, где-то в глубине двери, и не открылся.

— Блокировка тревоги, — сказал Крайн, и лицо у него стало пустое. — Караул поднят. При тревоге архив запирается наглухо до её снятия. Снимают с первого яруса.

Я подошёл и упёрся в дверь левой.

Металл был холодный. Правая двинулась вперёд раньше,

чем я решил, — как на Развилке, как в шахте, — и хомут на запястье потянуло вниз и вперёд, к нише, к полке, к делам. Тяга Перста имела угол. Она всегда имела угол.

— Пульс, — сказал док.

— Потом.

Я развернул кисть ладонью к коробке и открыл Ключ.

Кладка ушла. Осталось то, что под ней: две жилы в метал-
лорукаве, одна толстая — питание, одна тонкая — сигнал, и
обе входили в замок с задней стороны, и в самом замке сидел
ригель на соленоиде. Термическая пломба висела на тонкой.
Она ждала три неверных набора.

Я взял толстую.

Тяга пошла от плеча, через мёртвую кисть, и уткнулась в
соленоид, и я потянул на себя, как тянут закисший стопор,
— коротко, одним движением, без разгона.

В коробке хрустнуло. Дверь села на палец глубже и ото-
шла.

— Восемь секунд, — сказал док. — Сто двенадцать.

Хомут раскалился, и я почувствовал это шеей, потому что
кистью не чувствовал ничего. Из ниши потянуло тёплой бу-
магой, как от печки, и пломба на тонкой жиле осталась це-
лой и красной.

Крайн распахнул дверь до упора.

Внутри, от пола до потолка, стояли папки. Плотно, коре-
шок к корешку, восемь полок, и на каждом корешке номер и
год, и года уходили вниз и вглубь, и последние цифры вни-

зу были такие, каких я не видел ни на одной бумаге в своей жизни.

— Четыреста лет, — сказал Крайн. — Восемьдесят один том. Дела ведутся сквозной нумерацией с самого начала. Я об этом не думал никогда, пока вы не спросили вслух.

Дорн вытащила верхнюю папку, положила на стол под лампу и раскрыла.

Бланк был серый, тонкий, и в левом верхнем углу стоял слепой оттиск: восьмиугольник и внутри цифра. Я знал этот оттиск. Я держал такой на Соборе, в ризнице, на бумаге Ордена, которой было триста лет.

— Форма номер семь, — сказал я.

— Сорок первая страница, — сказала Дорн. Она вела протезом по строкам, и палец у неё шёл ровно, а голос нет. — Графы: оператор, сектор, срок наблюдения, порядок замены. У Ордена сорок вторая. Одна нумерация. Один документ. Его не переписывали дважды, Веко. Его разрезали.

Не два цеха. Один. С ножницами.

— Долль, — сказал я.

Крайн, не глядя на полку, снял третью папку сверху во втором ряду и открыл на нужном месте. Он знал тут каждый ряд вслепую, как знают собственный стол.

— Ирма Долль, — прочитал он. — Внесена тридцать четыре года назад. Графа «оператор» — прочерк. Ниже, другой рукой: «действующая». Срок наблюдения — до особого распоряжения. Распоряжения нет.

— Веко, — сказал я.

Он замер на секунду, а мою правую опять повело вперёд, к третьей полке снизу, и тяга была такая же, как в коридоре, как в шахте, только злее.

Крайн проследил за моей рукой и достал оттуда тонкую папку.

— Ярко Веко, — сказал он. — Дело сорок один дробь семь. Заведено двадцать шесть лет назад службой маршрутов. Здесь только выписка, само дело на Спице. — Он повернул лист к свету. — Двадцать три года назад: несанкционированный визит на объект, четыре часа, беседа с оператором. Санкции — нет. Приписка на полях: «наблюдение продолжить, изъятие не производить».

— Двадцать лет, — сказала Дорн, и голос у неё сел. — Двадцать лет мне говорили, что я его ищу.

— Вы его не искали, — сказал Крайн. — Его вели. Это две разные графы, я их обе заполнял.

Док достал пустую перевязочную сумку, вывалил на стол бинты и стал ровными пачками, по десять, укладывать туда папки. Он не спрашивал ни у кого разрешения.

— Коллега, — сказал Крайн.

— Я врач, — сказал док. — Вы сдаёте дела врачу. Опись потом.

Крайн постоял, потом снял с полки восемьдесят первую тетрадь, свою, положил её на папки сверху и придавил, будто её могло сдуть.

— Восемьдесят один том, — сказал он. — И одна тетрадь. Простите, я запишу время.

Сирена началась, когда мы вышли на лестницу.

Она не выла ровно. Она шла двумя нотами, вверх и вниз, и в паузе между ними по всему стволу шёл лязг: караул закрывал переборки, снизу вверх, отсекая ярус за ярусом.

— Девять тридцать пять, — сказал док.

Бельевой ствол мы нашли по холоду. Шахта шла от второго яруса до первого, узкая, метр на метр, со скобами внутри, и створку внизу мы срезали сами, ещё в начале девятого. Дорн ушла первой. Мирко полез вторым, и на четвёртой скобе босая нога у него сорвалась, и он повис на руках и вцепился мне в рукав снизу так, что дёрнул всю руку.

— Темно, — сказал он.

— Держись за меня. Я хуже вижу, чем ты. Пошли.

Внизу пахло гарью и порохом, и жёлтая аварийная лампа над рукавом мигала не в такт сирене, и от этого казалось, что палуба ходит.

Аглая стояла на колене за срезом рукава, с карабином, и ключи на её поясе висели молча, перехваченные резинкой.

— Живые, — сказала она. Это было не про нас, это была отметка. — Караул восемнадцать человек, двенадцать уже здесь. Они запирают створы. Нам осталось два.

За её плечом Северин Клем сидел спиной к переборке, положив карабин на колени, и выбивал магазин ладонью.

— Перекос, — сказал он в никуда, беззлобно. — Патрон

встал боком. Каждый раз, каждый долбаный раз на восьмом.

Он ударил затвором об угол плиты, один раз, второй, вправил и передёрнул.

— Порядок.

Что-то стукнуло о палубу и покатилося. Шашка. Серый дым пошёл низом, толстой подушкой, и добрался до нас быстрее, чем я успел вдохнуть.

Дальше я мало что видел.

Глаза залило сразу, и горло стянуло, и я согнулся, и меня выворачивало сухо, до боли под рёбрами. Док прижал мне к лицу мокрую марлю и держал, а сам не закрылся ничем. Мирко хрипел где-то у моего локтя и не отпускал рукав.

— Ниже! — крикнула Аглая. — На палубу, все!

Гранаты рвались с той стороны рукава, не осколочные, шокковые: свет бил сквозь дым белыми пятнами, и после каждого звук уходил и возвращался обрывками. Створ переборки пошёл поперёк коридора справа налево, медленно, на приводе, и в оставшуюся щель я видел жёлтую полосу на палубе за ней.

Клем поднялся на колено у самого угла и повёл стволом.

— Пятеро за плитой, щиты, — сказал он ровно, будто читал накладную. — Двое у привода. Аглая, ты по приводе, я по щитам. На счёт три. Раз.

Дым качнуло.

— Три.

Они выстрелили вместе. Аглая была по приводу створа

короткими, по два, и на четвёртой паре привод завизжал и встал, оставив щель в полметра. Клем со своими тремя пошёл вперёд встречным огнём, не давая караулу поднять головы, и я слышал, как ложатся его выстрелы: два, шаг, два, шаг. Щиты дрогнули. Кто-то заорал за плитой, и лязг перестал быть ровным.

— Проход! — крикнул Клем. — Пошли, пошли, пошли!

Дорн выдернула Мирко за шиворот и протолкнула в щель первым, потом ушла сама. Док сунул сумку с папками мне под здоровую руку, взял Крайна за локоть и повёл, как ведут раненого. Крайн шёл боком, прижав тетрадь к груди, и не пригибался: он за тридцать лет не научился пригибаться.

Я полз последним.

Правая рука работала. Хомут сжимал скобу настила, тянул, отпускал, тянул, и она перебирала за меня, пока левая держала сумку. Из-под ногтей левой пошло тёплое, я вытер о комбинезон и пополз дальше.

За щелью воздух был чище. Я лёг на палубу и дышал, и меня трясло, и марля на лице стала чёрной по краю.

— Сто двадцать шесть, — сказал док где-то надо мной. — Дан. Считай от ста. Через семь.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть...

Интерком на переборке зашипел. Он шипел давно, я просто не слышал его за сиреной.

— ...ун, приём! Аглая, приём! — Голос Рины продирался сквозь треск, и треск съедал половину слов. — Катер вошёл

в гребёнку! Передовой с Беркута, он в причальной гребёнке, идёт на первый ярус, я его веду по ходовым...

— Сколько, — сказала Аглая.

— Уже нисколько! — крикнула Рина.

И тут по всей станции прошёл удар.

Он пришёл снизу и сбоку, тяжёлый, железный, и повторился второй раз, и третий, и от каждого палуба под щекой подпрыгивала и била в скулу. Захваты. Стотонные лапы стыковочного узла врубались в наружный шлюз первого яруса, в двадцати метрах от нас, за двумя переборками.

Гул в моей челюсти сбился и пошёл вразнобой.

Заградитель встал на наш выход.

Глава 7. Стежок

Вниз мы шли по скобам, и с каждой пройденной удары захватов делались тише, а гул в моей челюсти чище. Наверху лязгало сталью о сталь. Здесь, в стволе, оставался только такт: низкий толчок в кость, потом длинная пауза, потом снова толчок. Шестьдесят четыре секунды. Он держал меня ровнее, чем скобы.

Крайн спускался последним и тетрадь нёс под мышкой, прижав локтем. Я слышал, как он считает ступени себе под нос.

Машинный зал четвёртого яруса встретил нас теплом.

Тут всё было наоборот по сравнению со станцией наверху. Наверху гильдейская обшивка, белая эмаль, приборы на кронштейнах. Здесь эмаль кончалась на середине переборки, и дальше начинался чёрный камень Строителей, тёплый, как бок котла под парами. Обшивку к нему когда-то притянули на болтах. Болты вылезли из камня на палец, каждый, будто камень их выдавил и бросил на полдороге.

Кресло стояло в середине зала, в развилке четырёх жил.

Жилы уходили из пола и сходились над креслом во втулку — чёрную, ребристую, размером с бочку. От втулки в стены били четыре толстых тяжа, и каждый на такте набухал и опадal. Я видел их и без Ключа. Сектора. Четыре сектора пояса, восемь миллионов живых, и все они дышат потому, что

дышит эта штука.

В кресле сидела Ирма Долль.

По бумагам её похоронили за десяток лет до моего рождения. Камень с тех пор взял её по локоть с обеих сторон и до середины бедра. Кисти были уже внутри породы. Лицо оставалось лицом: серое, сухое, с живыми глазами, и губы шевелились в такт.

— ...шестьдесят три. Шестьдесят четыре. Ноль, — сказала она и повела плечами, насколько кресло дало.

Втулка над ней ухнула и пошла на новый круг.

— Девять сорок, — сказал Крайн вслух, как всегда говорил перед тем, как взяться за карандаш. — Присутствуют: Долль И., наблюдатель Крайн Т., Веко Д., Вей М., Дорн В. Протокол снятия оператора с поста. Пишу дословно, включая то, что вы мне велите не писать.

— Записывай, — сказал я.

Правая половина лица не слушалась уже полтора месяца, и на шипящих у меня выходил свист вместо звука. Крайн даже не поморщился. Он вообще всё слышал с первого раза: тридцать лет вслушивался в тех, кто говорит плохо.

Док нашёл пульс на левой руке и держал молча.

— Сто четыре, — сказал он, досчитав шестнадцать ударов. — Дан. Две минуты, и я тебя выключаю.

— Двух хватит.

Я подошёл к креслу и открыл Ключ.

Зал перестал быть залом. Обшивка, кронштейны, шкафы

гильдейских индикаторов — всё стало плоским и ненужным, как нарисованное. Осталась схема: втулка, четыре жилы, натяжение по каждой, и посередине живая точка, к которой натяжение сведено. Точка была Ирмой Долль. Буквально. Сеть держала её пальцами внутри камня и тянула ею четыре сектора, и когда она вела счёт, счёт шёл в схему.

Над точкой висела строка. Я читал язык Строителей уже как накладную.

Оператор поста: Долль И. Смена не завершена.

Я потянулся к строке.

Есть вещи, которые Ключ делает быстрее, чем я успеваю сформулировать. Стереть имя. Освободить графу. Я знал, что графа освобождается, я видел, как она освобождалась в Именослове Собора, я сам вписал туда себя месяц назад и сам себя оттуда вывел.

Схема отбросила меня.

Это было похоже на то, как отбрасывает закишную резьбу, когда давишь ключом не в ту сторону: сначала упор, потом отдача в кисть, потом звон. Звон пошёл по кости челюсти вверх, к виску, и рябь встала по краю зрения. Я устоял.

— Сто двенадцать, — сказал док.

— Ещё раз, — сказал я.

Второй раз строка ответила полностью. Она развернулась передо мной сама, с той обстоятельностью, с какой станция объясняет дураку, почему он дурак.

Слой IV. Схема. Заблокировано по требованию опе-

ратора Веко Я.

Я стоял и смотрел на буквы, и втулка ухала над Долль, и жилы набухали и опадали, и меня держало на ногах то, что руки у меня всё равно заняты не были.

Отец.

Он спустился сюда за год до моего рождения и четыре часа говорил с женщиной в кресле, без санкций службы. В деле это записано одной строкой. Я думал, он приходил её пожалеть. Он приходил закрыть слой.

— Что там, — сказала Дорн.

Оптический протез у неё пощёлкивал: она писала.

— Блокировка. — Свист съел половину слова, и я повторил медленнее, левым углом рта. — Слой четыре заблокирован. По требованию оператора. Веко Я.

Крайн перестал писать.

Док не сказал ничего, но пальцы на моём запястье сжались и разжались.

— Ваш отец, — сказал Крайн.

— Мой отец.

— Он мог это снять?

— Он и поставил.

Я закрыл Ключ. Зал вернулся на место, со шкафами и болтами, и стало слышно, как наверху, за восемьдесятю метрами стали, грызут переборку резак. Тонкий далёкий вой, будто где-то очень аккуратно режут жёсть.

Двадцать минут. Столько Аглая давала рубежу первого

яруса, и с тех пор прошло пять.

Долль смотрела на меня.

— Вы сын Ярко, — сказала она. — Я поняла ещё вчера. У вас его манера стоять.

— Он вам говорил, что закроет слой?

— Он говорил, что придёт тот, кто сможет. — Губы у неё двигались с трудом, каждое слово стоило ей воздуха. — Он говорил, чтобы я не соглашалась ни на кого раньше. Тридцать четыре... — Она сбилась, замерла и поймала счёт. — Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Шестьдесят.

— Держите, — сказал я.

— Я держу.

Док повернулся ко мне.

— Дан. Скажи мне простыми словами, чего мы стоим и ждём.

Я и сам себе сказал простыми словами. Это помогает.

Вынуть её нельзя. Она в камне, камень взял её пальцы, и если мы просто вырежем тело, натяжение уйдёт в никуда, и четыре сектора схлопнутся за секунды. Заменить её собой я тоже не могу: у меня Слой III, а графа оператора требует Схему, а Схема заблокирована рукой человека, который шесть лет висит в чужом шве. Стереть имя нельзя. Оставить нельзя.

Все двери заперты.

И тут я вспомнил Собор.

Не хор, не Ждану, не то, как я сидел в кресле наверху Иг-

лы и не мог встать. Я вспомнил формулировку, которую мне тогда выдал камень. Пост не спрашивает, кто ты. Пост спрашивает одно: работа продолжится?

Кресло держит не человека.

Кресло держит того, кто держит.

— Перст, — сказал я.

Док не понял. Дорн поняла раньше меня самого, я услышал, как у неё щёлкнул протез.

— На престоле Собора их было шесть, — сказала она. — И все шесть лежали в ложементх поста.

— В гнёздах, — поправил я. — Ложемент под инструмент, гнездо под работу. Мы вытащили из гнёзд шесть штук и таскаем их в сейфе, как посуду.

Я подошёл к втулке, насколько дали жилы, и оглядел её уже глазами, без Ключа.

Она была ребристая, и между четвёртым и пятым ребром в чёрном камне зияла выемка. Прямоугольная, с закруглением по одному краю, вычищенная до блеска. Пустая четверста лет.

Форма мне была знакома до миллиметра. Такая же выемка была на престоле, и в такой же лежал Третий Перст, который сейчас сидел хомутом на моём мёртвом запястье и сорок восемь суток не давал моей руке быть просто куском мяса.

Я нажал кнопку интеркома левым локтем.

— Молчун, Веко. Тарас нужен на четвёртом ярусе. И пусть возьмёт из сейфа Четвёртый.

Треск. Потом голос Рины, злой и быстрый, потому что наверху резали переборку.

— Какой четвёртый?

— Перст, — сказал я. — Четвёртый Перст. Стежок.

*

Тарас скатился по стволу за пятнадцать минут и на последних скобах не спускался, а падал, сжимая скобы в кулаках.

Он встал посреди зала, оглядел кресло, женщину в кресле, камень, взявший её по локоть, и втулку над ней. Свистеть сквозь зубы он не начал. Это у него значит больше, чем ругань.

— Здорово, коллега, — сказал он камню. Тихо, без обычной своей громкости.

Потом полез в нагрудный карман.

Перст был завёрнут в ветошь, засаленную до черноты, и когда Тарас развернул её, в зале стало на один оттенок светлее. Штука была короткая, в ладонь, чёрная, с матовым хомутом и стопорным винтом на торце. Винт закис ещё на престоле.

Тарас поднёс его к глазам, сощурился, смачно плюнул на резьбу и растёр большим пальцем.

— Не смотри так, — сказал он мне. — Ей четыреста лет, слюна ей не повредит.

Он взял винт зубами за грань и повернул на четверть, придерживая корпус в кулаке. Винт пошёл. Тарас выплюнул его

на ветошь, посмотрел на просвет, вкрутил обратно от руки и сунул Перст мне.

— Держи. Резьба живая. Хомут раскроется, я проверил.

— Спасибо.

— Не благодари. И не спрашивай, чем чинил.

Дальше пошла моя часть.

Втулка ходила своим кругом, и на каждом круге камень под рукой нагревался и остывал, и разница чувствовалась даже мёртвой правой, потому что мёртвая рука с Перстом чувствует не тепло, а тягу.

Я положил Четвёртый в выемку и открыл Ключ.

Двух Перстов я до этого не держал ни разу.

Первое, что случилось, это звук. Зуммер поднялся из костей запястья, прошёл по локтю, по плечу, вошёл в челюсть и там встал. Челюсть свело так, что зубы стукнули, и я почувствовал во рту железо. Второе, что случилось, это свет: хомут на моём запястье налился синим, и выемка во втулке налилась синим тоже, и между ними протянулась связь, которую я видел не глазами.

— Сто тридцать пять, — сказал док откуда-то издалека.

— Дан, я снимаю.

— Не снимай, — сказал Крайн. — Простите, коллега. Ему осталось меньше, чем вам кажется.

Втулка не приняла железо.

Это надо объяснить, потому что я сам понял не сразу. Камень Строителей не отталкивал Перст как чужое. Он его

не видел. Гнездо было рассчитано на живую тягу, а Четвёртый лежал в нём мёртвым куском, инструментом без руки, и втулка ходила мимо, как ходят мимо выключенного станка.

Значит, ему нужна была рука.

Я взял Четвёртый Перст тягой Третьего.

Хомут на моём запястье сжался сам, до боли в кости, которой я не чувствовал, и вся тяга ушла в кисть и дальше, по воздуху, в чёрный корпус в выемке. Синий накал стал белым по краю. Запахло палёной шерстью: это горел рукав, который Тарас распустил мне по шву ещё на Соборе.

— Тарас, — сказал я сквозь зубы. — Направляющие.

— Вижу.

Он лёг на камень грудью, обхватил втулку с двух сторон и прижал Перст обеими руками, ловя соосность. Руки у него были в ожогах ещё с Собора.

— Косит на волос, — сказал он. — Вправо-вниз. Держу. Долль вела счёт.

Я слышал её через зуммер, обрывками, и каждый её счёт был мне отсечкой. Сорок. Сорок пять. Пятьдесят.

— На ноль, — сказала она. — Слышите, мальчик? Не раньше. Раньше вы порвёте жилы, и всё.

— Слышу.

— На ноль я отпускаю. Одну руку. Больше я не могу.

— Одной хватит.

Пятьдесят шесть. Пятьдесят семь.

Я собрал всё, что оставалось, в одну точку между кистью

и выемкой. Тяга пошла ровная, тяжёлая, будто я тянул на себя дверь, которую держат с той стороны. В глазах поплыло. Кто-то держал меня за пояс сзади, кажется, Дорн, протезом, потому что хват был как у струбцины.

Шестьдесят три. Шестьдесят четыре.

— Ноль.

Камень отпустил её правую кисть.

Натяжение пошло в никуда, я почувствовал этот провал всем позвоночником, и в этот провал я вбил Четвёртый Перст.

Он вошёл в гнездо на треть, встал, дёрнулся под тягой и сел до упора. Хомут раскрылся. Из чёрного корпуса выступила кромка, тонкая, как лезвие, и обежала выемку по краю, и края потекли навстречу друг другу.

Камень взял железо.

Это было не соединение и не сварка. Порода поднялась по корпусу, как поднимается вода по фитилю, обняла его и остановилась ровно по кромке, и шва не осталось. Втулка ухнула, промахнулась мимо такта, ухнула снова.

И взяла жилы на себя.

Я это увидел изнутри схемы: четыре тяжа, которые полтора месяца сходились в живую точку, разошлись и легли на новую опору. Точка перестала быть Ирмой Долль. Точка стала Четвёртым Перстом.

Строка над втулкой переписалась сама.

Оператор поста: Стежок. Учтён. Смена продолжа-

ется.

Ультразвуковой вой, который стоял в зале с самого нашего прихода, поднялся выше слуха и пропал.

Я сел на камень.

Меня выворачивало сухо, и левой рукой я упирался в пол, и пол был горячий, и это было хорошо, потому что горячее я ещё чувствовал.

— Сто сорок, — сказал док. — Всё. Ключ закрыл. Считай от ста через семь.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть. Семьдесят девять...

— Хватит.

Тарас всё ещё лежал в втулке, обняв её, и не поднимался. Потом поднял голову.

— Она тёплая, — сказал он. — Она стала теплее, чем была.

*

Захваты в камне разомкнулись не все.

Кисти рук отпустило сразу, обе, и предплечья вышли следом, серые, тонкие, в чёрной корке по коже. Бёдра камень держал ещё минуту, а потом отдал и их, медленно, будто раздумывая.

Резали мы не камень. Резали то, что срослось между породой и телом за все эти годы.

Док работал молча и быстро, и Крайн работал с ним, вдвоём, локоть к локтю, два наблюдателя с клеёнчатыми тетрадя-

ми, тридцать четыре года и девяносто суток. Сосуды прикипели к породе и рвались с сухим треском, и там, где рвались, шла тёмная кровь, густая, почти чёрная, и её было мало.

Ирма Долль не кричала. Она смотрела в потолок и шевелила губами.

— Носилки, — сказал док. — Тарас, под лопатки. Дорн, ноги. На счёт раз.

Её подняли.

Она весила как ребёнок.

Я стоял рядом и не мог свести одно с другим: вот это тело держало четыре сектора, а весит меньше мешка крупы.

И вот тогда началось то, ради чего Гильдия четыреста лет держала на этой станции врача, а не палача. Распад, который узел столько лет держал в ней, как пробка держит воду, ударил в тело разом, когда пробку вынули.

Вены на её шее почернели за три вдоха.

Я видел это своими глазами и не мог отвернуться. Чернота пошла от ключиц вверх, обошла подбородок и встала под ухом, ровно там, где у меня стоит своя. Потом пошла вниз, по рукам, к тем самым кистям, которые только что вынули из камня. Кожа на щеках села. Она стала выглядеть на свой настоящий возраст за то время, за которое я успел встать на колени рядом с носилками.

— Тодор, — сказала она.

— Я здесь, Ирма, — сказал Крайн.

Он назвал её по имени. Она его тридцать лет звала по

должности, и он её тридцать лет по имени, и теперь она сказала его имя первый раз, и он записал бы это, если бы у него были свободны руки.

— Шестьдесят два, — сказала она. — Шестьдесят три. Шестьдесят четыре.

Она замолчала и повела глазами, ища кого-нибудь.

— А дальше?

Никто не ответил.

Док полез в карман за сигаретой, вытащил её сломанной пополам, сунул в угол рта половину и защёлкал зажигалкой прямо над носилками. Зажигалка была пустая. Он щёлкал её четыре раза, потом пятый, глядя мимо всех, и Дорн протезом перехватила его руку и опустила вниз.

Он посмотрел на свою руку. Убрал сигарету в карман.

— Дальше отдыхайте, — сказал он Долль. — Дальше считаю я.

По залу прошёл сквозняк.

Он пришёл снизу, от жил, ледяной, и я не сразу понял, откуда в тёплом зале холод, а потом сообразил: камень отдал наверх всё, что грел через неё. Гильдейские шкафы вдоль стены щёлкнули один за другим и погасли. Индикаторы, лампочки готовности, зелёные глазки на панелях, которые четыреста лет докладывали людям то, чего люди не понимали, стали чёрными за секунду.

Над лестницей висел плафон дежурного света. Янтарный.

Он погас тоже. И следом, через переборки, через два яру-

са, я услышал, как гаснут остальные: тихий множественный щелчок по всей станции, палата за палатой, ярус за ярусом. Янтарные лампы ожидания над шестью койками. Те, что горели над Мирко, над Беком, над Сурмой, над пустой четвёртой, где двадцать лет назад лежала Дорн.

Ждать стало некого.

Узел шёл. Втулка ухала над пустым креслом ровно и уверенно, четыре тяжа набухали и опадали, и в четырёх секторах пояса ни у кого не мигнула лампочка на кухне.

Впервые за триста лет он держал их без человека.

— Уходим, — сказала Дорн. Она уже стояла у ствола шахты и слушала верх. — Резаки прошли вторую переборку.

Я встал.

Носилки взяли Тарас и Крайн, док пошёл сбоку, придерживая ей голову. Я поднял с камня обгорелую ветошь, в которой Тарас принёс Четвёртый Перст, и зачем-то сунул её в карман.

У выхода я обернулся.

В темноте светилась одна точка: шов на втулке, где чёрный камень взял чёрное железо. Ровный синий волосок по краю выемки. Он мигал в такт, шестьдесят четыре секунды, и будет мигать, когда никого из нас не останется.

Мы вошли в ствол шахты.

Сверху, с восьмидесяти метров, по всем скобам и всем металлоконструкциям разом шёл вой резаков, и он был уже не тонкий и не далёкий.

Глава 8. Молва

Скоба под ладонью была тёплая. Весь ствол был тёплый: под гильдейской обшивкой лежал камень Строителей и отдавал наверх своё.

Я лез первым и считал их, чтобы не считать, сколько ещё осталось воя над головой. Восемьдесят метров ствола, скоба через полметра, шахта узкая, и носилки шли за мной боком, наискось, потому что прямо они не проходили. Тарас держал верх, Крайн низ, док лез рядом и одной рукой придерживал ей голову, а другой цеплялся, и я слышал, как он дышит: два такта, пауза, три. Он так храпит. Он и лезет так.

Резаки прошли третью переборку, когда мы вышли на первый ярус.

Здесь было светло. Не по-станционному, а по-другому: аварийные щиты Гильдии погасли вместе со всем остальным, и свет теперь давали плазменные резаки за дальним изгибом коридора — белое пятно, ходившее по стене, как чужой прожектор. Оно ложилось на обшивку и подтёками сползало вниз.

— Направо, — сказала Дорн. — Двадцать два метра до среза рукава.

Аглая ждала у пролома.

Бронествор она заклинила утром, выстрелив в привод, и с тех пор он стоял, как стоял: полметра щели между кром-

кой створа и косяком, оплавленный край, за ним причальный рукав и наш борт. Полметра. Носилки — восемьдесят по ширине.

— Клем, — сказала Аглая, не оборачиваясь. — Двадцать секунд.

Клем с двумя своими лежал за станиной погрузчика и держал изгиб. Он даже не ответил, просто выпустил три коротких, и в ответ по станине ударило так, что от неё пошёл звон в зубах и в кости челюсти, отдельно от звука.

Я подошёл к пролому и положил на кромку правую руку. Она ничего не почувствовала. Она никогда теперь ничего не чувствует, но хомут на запястье потяжелел и потянул кисть вперёд, как тянет собака поводок, и я отпустил ей ровно столько, сколько было нужно. Створ сдвинулся на ладонь. На вторую. Пошёл рывками, скрежеща заклиненным приводом, и встал.

— Хватит, — сказал Тарас. — Восемьдесят есть. Понесли. Мы понесли.

Долзь на носилках не весила ничего. Я взял угол левой, док подхватил свой, Крайн шёл спиной вперёд и трижды успел сказать «простите» никому. Мирко Ставра Дорн вытолкнула в щель раньше всех, протезом в спину, и он влетел в рукав на четвереньках и остался стоять на четвереньках, глядя назад.

— Иди, — сказал я ему. Вышло с присвистом на конце: справа лицо у меня не двигается с Собора, и «иди» — одно

из немногих слов, которое ещё выходит целиком.

Он пошёл.

Архив нёс док. Восемьдесят одна тетрадь в двух ящиках и брезентовой сумке через плечо, четыреста лет наблюдений Гильдии, и сумка била его по бедру на каждом шаге. Он перехватил её и понёс на груди, как носят ребёнка, и мне стало смешно, а потом перестало.

Термит пошёл в двадцати шагах.

Он идёт не как выстрел. Он идёт как открытая дверца печи: сначала в лицо ударяет сухим жаром, и только потом ты понимаешь, что видишь. Штурмовики Сваля резали стену сбоку, не там, где мы, и белая капля поползла по металлу вниз, и от неё же потянуло чёрным дымом, и дым лёг на палубу и пополз к нам вдоль настила.

— Ложись! — крикнула Аглая.

Клем не лёг. Он развернулся к прорезу и успел выпустить всё, что у него было в магазине, в тот момент, когда вырезанный лист вывалился внутрь и первый штурмовик перешагнул через него. Плазма шла шквалом. Она бьёт короткими белыми плевками, каждый оставляет на стене оспину и слепит на полсекунды, и в эти полсекунды ты не видишь ничего, кроме того, что было перед вспышкой.

Клема развернуло и бросило на станину.

Я видел, как он попытался встать на локте и не встал, и как его правая нога осталась лежать не так, как лежат ноги. Двое его подхватили под мышки и потащили. Он ругался. Он

ругался всё время, пока его тащили, длинно и однообразно, и это было хорошо, потому что человек, который ругается, дышит.

Над нами шла кран-балка.

Она висела вдоль всего яруса на подвесном рельсе — рабочая, тонная, с крюком и с оборванной цепью, и от неё до пролома было шагов двадцать. Я поднял голову и посмотрел на крепление. Скоба, два болта, рельс, приваренный к потолочным балкам. Обычная сталь, глухая, не отвечающая ни на что.

Но тянуть можно и глухое.

Я развернулся правым плечом, вытянул руку вперёд и вниз и отдал Персту всё, что у меня было.

Хомут раскалился. Он всегда раскаляется, и я всегда чувствую это не кожей запястья, а зубами, — и балка пошла. Она сдвинулась на рельсе с воем, набрала ход, дошла до конца пути, и упор не выдержал. Рельс отогнуло, потом сорвало со сварки, и четырнадцать метров рельса вместе с балкой обрушились поперёк коридора между нами и прорезом.

Грохот был такой, что дым в коридоре подпрыгнул.

Пыль встала стеной. Из этой стены кто-то ещё стрелял вслепую, наугад, и плазма уходила в потолок.

— Пошли, пошли, пошли! — Аглая уже стояла в проломе и толкала в спину каждого, кто пробежал мимо.

Носилки прошли боком. Ящики с архивом Тарас перекинул через кромку по одному, как перекидывают мешки. Кле-

ма протащили через щель на спине, ногами вперёд, и он замолчал только тогда.

Я шёл предпоследним.

Пuls у меня в горле бил в жилу, в ту самую, чёрную, и я успел подумать, что док сейчас скажет цифру. Он сказал.

— Сто тридцать пять.

— Потом, — сказал я.

— Я и говорю потом, — сказал он. — Сейчас — сто тридцать пять.

Аглая вышла последней. Я не видел, чтобы она хоть раз оглянулась на пролом, но у самого рукава она приостановилась и поправила рукой брезент, которым Клема накрыли на носилках. Потом убрала руку за спину и пошла.

Шлюз задраили в десять двадцать восемь.



Ручку шлюзового привода заклинило намертво.

Тарас налёг на неё вдвоём с одним из людей Клема, потом один, потом стал ругаться так же длинно, как Клем, и лёг щекой на настил, чтобы посмотреть снизу.

— Это что, — сказал он.

Он вытер лицо мазутной ветошью, размазав по лбу чёрное, и полез рукой в прямок под приводом.

— Это мой ключ, — сказал он. — На двадцать четыре. Я его вчера искал.

— Тарас, — сказала из интеркома Аглая. — Захваты.

— Секунду.

Он ударил сапогом снизу вверх, и ключ вылетел из приямка, звякнул о переборку и упал в решётку пайол. Ручка пошла. Он довернул её до упора, и по всему корпусу от носа к корме прошёл лязг: четыре причальных захвата отпустили нас разом.

Я был уже в рубке.

Слепой конус Вивария — девяносто метров в поперечнике. Не укрытие и не тень: просто место, куда узел не смотрит, потому что четыреста лет назад под этим боком повесили технический пилон и решили, что оттуда никто не придёт. Девяносто метров. Молчун по миделю — двадцать восемь.

— Тяга, — сказала Аглая.

— Восемьдесят процентов, — сказал Тарас по интеркому. — Заслонка правого маневрового встала на восьмидесяти и дальше не идёт. Я её выбью.

— Сколько?

— Столько, сколько выбью.

Беркут висел над первым доком.

Восемь тысяч тонн, карантинный вымпел, и на таком расстоянии он не смотрится кораблём: он смотрится куском станции, который отчего-то оказался в стороне. Башни у него разворачивались медленно. Так поворачивают голову, когда уже знают, куда смотреть, и просто доводят.

— Захват, — сказала Рина. — По нам ведут. Два ствола, потом три.

— Дорн, — сказала Аглая в микрофон.

Коршун стоял ниже нас на восемьсот метров и без огней. Дорн ответила сразу, будто держала палец на клавише.

— Даю засвет. Отсчёт от меня. Три.

На Коршуне зажглось всё.

Ходовые, габаритные, посадочные, весь аварийный комплект разом, и вдобавок она врубила на передачу пустой канал на полной мощности — сплошную несущую, от которой у Рины в наушнике встало шипение. Восемь тысяч тонн повернули башни на этот свет, потому что свет был громче нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.